

АЭРОПЛАН ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЯ

ДАРЬЯ
ПЛЕЩЕЕВА



ИСТОРИЧЕСКИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Дарья Плещеева
Аэроплан для победителя
Серия «Два Аякса», книга 1
Серия «Исторические приключения (Вече)»

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=10829554
Аэроплан для победителя/ Плещеева Д.: Вече; Москва; 2014
ISBN 978-5-4444-7507-2, 978-5-4444-1169-8

Аннотация

1912 год. Не за горами Первая мировая война. Молодые авиаторы Владимир Слюсаренко и Лидия Зверева, первая российская женщина-авиатрисса, работают над проектом аэроплана-разведчика. Их деятельность курирует военное ведомство России. Для работы над аэропланом выбрана Рига с ее заводами, где можно размещать заказы на моторы и оборудование, и с ее аэродромом, который располагается на территории ипподрома в Солитюде.

В то же время Максимилиан Ронге, один из руководителей разведки Австро-Венгрии, имеющей в России свою шпионскую сеть, командирует в Ригу трех агентов – Тюльпана, Кентавра и Альду. Их задача: в лучшем случае завербовать молодых авиаторов, в худшем – просто похитить чертежи...

Содержание

Пролог	4
Глава первая	9
Глава вторая	14
Глава третья	19
Глава четвертая	24
Глава пятая	29
Глава шестая	34
Глава седьмая	39
Глава восьмая	46
Конец ознакомительного фрагмента.	50

Дарья Плещеева

Аэроплан для победителя

Пролог

Императору Францу-Иосифу было восемьдесят два года. Портрет ему льстил – старец глядел хмуро, но бодро, пронизательно глядел, стройный стан выпрямлял на зависть молодым офицерам, и плешь с седыми усами была ему даже к лицу: истинный государственный деятель, мудрый правитель своей державы. Портрет был не торжественный, скорее уж деловитый портрет – в таком серо-голубом мундире не парады принимать, а вершить судьбы и негромко отдавать приказания подчиненным. Потому Максимилиан Ронге, когда полковник Редль взял его в Управление военной разведки, украсил свой небольшой кабинет именно этим портретом. И когда принимал в нем сотрудников, те оказывались под прицелом двух пар внимательных и строгих глаз. Это внушало особенную потребность в благоразумии и дисциплине.

– Итак?

– Докладываю, господин Ронге. Вот экстракт из донесений агентов Фиалки, Альбатроса, Марципана. Я объединил их в докладной записке. Изволите прочитать?

В этой краткой речи была должная смесь деловитости и почтительности. Ронге одобрил ее.

– Читайте сами, господин Зайдель, – велел он. – Глаза мои устали от множества бумаг... хоть немного отдохну от света... Да только читайте так, чтобы я не заснул в кресле.

Это было шуткой – знаком приязни начальника к подчиненному. Но Ронге не рассчитал дозы благоволения в голосе – Зайдель почувствовал себя неловко.

– Как вам будет угодно, господин Ронге, – сдержанно ответил он.

– Когда читаешь по бумаге – это получается нудно и монотонно.

Ронге не обиделся на то, что подчиненный не захотел понимать шутку. Он просто объяснил ее – хотя объяснять шутки довольно странно.

– Я постараюсь, господин Ронге.

– Да, постарайтесь...

Ронге откинулся на спинку кресла. Он знал, что Зайдель его побаивается, и считал – секретарь правильно делает. Ронге нарочно приучил себя глядеть со строгим прищуром и сжимать губы в прямую линию. Подчиненные должны верить в строгость начальника более, чем в своего ангела-хранителя. К тому же и служба такая – без страха нельзя. Если подчиненный господина Ронге утратит страх – то слишком многое станет известно нынешнему противнику, завтрашнему врагу на поле боя.

В том, что война с Россией неизбежна, Ронге не сомневался. И в том, что эта война станет сильнейшим средством сделать карьеру, – также. Ему тридцать восемь – всего тридцать восемь! А сколько уже сделано! А сколько впереди?! Кого попало в Управление военной разведки не возьмут – ему же было тридцать три, когда взяли. И теперь он – главная надежда не только австро-венгерской разведки, но и группы контрразведки «Эвиденцбюро»...

– О положении дел в проектировании российских аэропланов-разведчиков, – прочитал Зайдель крупными буквами выписанное название докладной записки. В кабинете горели только свечи на столе у Ронге, и он поднес папку с бумагами чуть ли не к самому носу.

– Первые три абзаца пропускайте. Наша преданность императору и без них вне сомнений. Сразу приступайте к делу.

Зайдель перевернул первый лист с традиционными словесными реверансами и кратким описанием политической обстановки.

– О положении дел в российском авиационном...

– Не надо. Дайте сведения о конкретных персонах, которых вы предлагаете разрабатывать.

– Извольте. Теодор-Фердинанд Калеп, сорок шесть лет, женат, проживает в Риге, – прочитал Зайдель. – Одаренный и деловитый инженер. Совладелец завода «Мотор» в Зассенхофе, на окраине Риги. Первый, кто стал изготавливать поршни моторов из алюминия. Насколько можно судить по донесениям, Калеп является конструктором первого в Российской империи авиационного мотора и авиационного ангара. Два года назад построил свой аэроплан, который успешно прошел испытания, причем полеты состоялись зимой, в январе. Надо полагать, это первые в мире зимние полеты. И, по мнению агента Альбатроса, сущий безумец.

– То есть как? – спросил Ронге.

– Чтобы построить свой аэроплан, истратил все сбережения и продал драгоценности жены. Придуманый им мотор заводится без труда, работает без перебоев.

– Лет ему сколько?

– Сорок шесть, а здоровья, по донесениям, слабого. Сейчас господин Калеп занят усовершенствованием своего мотора, что вызывает интерес у российского военного ведомства. При заводе собираются открыть летную школу.

– Ясно. Этот нам нужен. Дальше.

– Госпожа Зверева – дочь генерала Виссариона Лебедева, известного со времени военных действий на Балканах, – прочитал Зайдель. – Двадцать два года, вдова. Дама избалованная и отважная, не знавшая ни в чем отказа. Вот фотокарточки.

Ронге открыл глаза и увидел на столе перед собой два портрета.

– Глаза и волосы прелестны, но красавицей эту даму я бы не назвал, – брюзгливо сказал Ронге. – Продолжайте.

– Училась в гимназии и в Институте благородных девиц. Очевидно, в годы учебы впервые поднялась в небо на воздушном шаре, что известно с ее слов. Предположительно это могло быть в крепости Осовец, где тогда служил генерал Зверев. Там располагался воздухоплавательный отряд...

– Ближе к делу, Зайдель.

– Как вам угодно, господин Ронге. В семнадцать лет девица была отдана замуж, сделала приличную партию – ее покойный супруг господин Зверев был инженер-железнодорожник, конструктор, весьма образованный человек. Есть основания полагать, что он сумел развить природные технические способности супруги. Брак длился два года. В тысяча девятьсот девятом году Зверев умер, его супруга осталась в девятнадцать лет вдовой. Это немало важно – она приобрела юридическую свободу и самостоятельность, могла сама распоряжаться своими средствами.

– Средства, значит, были?

– Насколько понял агент Марципан, небольшие, и те она тратила, не слишком задумываясь о будущем. Агент Марципан рекомендовал обратить внимание на эту особенность.

– Хорошо, продолжайте.

– Осенью тысяча девятьсот десятого года, точная дата неизвестна, в городке Гатчине под Санкт-Петербургом была открыта частная авиационная школа «Гамаюн». Госпожа Зверева была в числе первых записавшихся учеников и внесла четыреста рублей за обучение и шестьсот рублей – на случай поломок аэроплана. Она выполняла учебные полеты на аэроплане «фарман-4»...

– Технические данные аэроплана.

Они сейчас роли не играли – но нужно было показать подчиненному, что начальство следит за выполнением своих указаний и помнит разговор недельной давности.

– Они в приложении, господин Ронге, – Зайдель нашел нужную страницу. – Тут восемь страниц приложений. Вес – пятьсот восемьдесят килограммов, предельная скорость – шестьдесят пять километров в час, неустойчив, от порывов ветра переворачивается... так... Учебные полеты выполнялись на высоте двадцать-тридцать метров, зачетные, с исполнением фигур, – на высоте пятьдесят метров. Прикажете продолжать?

– Да.

– В июле тысяча девятьсот одиннадцатого года была попытка совершить первый в России групповой перелет из Санкт-Петербурга в Москву.

– Да, это я помню. Оставьте подробности.

– Госпожа Зверева также полетела – пассажиркой на «фармане» господина Слюсаренко. Владимир Слюсаренко... читать?.. Владимир Слюсаренко, двадцать четыре года, предположительно холост. Учился в Петербургском технологическом институте, но, по мнению агента Марципана, не окончил курса, поскольку увлекся авиацией. Окончил вышеупомянутую школу в Гатчине, сдал экзамен на пилота и стал работать в той же школе пилотом-инструктором. Там же познакомился с госпожой Зверевой и стал за ней ухаживать...

– Это какой-то новый, неизвестный науке способ ухаживать – взять даму в опасный перелет, где она рискует сломать себе шею. Ведь аэроплан Слюсаренко врезался в землю, не так ли? – Ронге едва усмехнулся.

Зайдель усмехаться побоялся – счел это неприличным.

– Именно так, господин Ронге, и пилот повредил обе ноги. Но ранения были незначительны. Госпожа Зверева уцелела. И через полтора месяца после того, как получил диплом пилота господин Слюсаренко, такой же диплом получила госпожа Зверева, став первой российской авиатриссой. Она летела на «фармане-4». На высоте пятьдесят метров сделала в воздухе пять восьмерок и совершила весьма точный спуск.

– Мне уже нравится эта дама. Продолжайте.

– В начале сего года авиаторы Слюсаренко, Евсюков, Агафонов и авиатрисса Зверева отправились на показательные выступления в Баку и иные города Кавказа. Они рассчитывали на финансовый успех, но в Тифлисе им не повезло – случился ураган, и аэроплан был разрушен. По донесению агента Фиалки, чтобы оплатить издержки, пришлось отдать устроителям полетов единственную ценность авиаторов – уцелевший мотор аэроплана. Затем было решено отправиться в Ригу.

– Так...

– В Риге было показательное выступление на ипподроме, во время которого Зверева чуть не погибла. Сильный ветер начал сносить аэроплан к трибунам. Чтобы не погубить зрителей, Зверева сделала резкий маневр, и машина опрокинулась. При ударе о землю ее придавило обломками. Ушибы до сих пор дают себя знать, но от полетов Зверева не отказалась. Более того – она, уехав ненадолго из Риги, опять туда возвращается вместе с господином Слюсаренко. Агент Марципан полагает, что в этой паре главная – госпожа Зверева.

– Похоже на то.

– По донесению агента Альбатроса, именно теперь господином Слюсаренко и госпожой Зверевой заинтересовалось российское военное ведомство. В Ригу они отправляются не по своей воле, а выполняя условие договора, подробности которого нам пока неизвестны. Ставка сделана на их конструкторские таланты. В Риге уже строят свои аэропланы на заводе «Руссо-Балт», предполагается размещать заказы на заводе «Мотор» – как вытекает из названия, на авиационные моторы. Задача Зверевой и Слюсаренко – проектировать, строить и испытывать аэропланы. Более конкретно – им поручено разработать модель аэроплана-раз-

ведчика и поставить армии пробные образцы. Речь идет о совершенствовании французского разведывательного аэроплана братьев Фарманов. Изволите знать технические данные?

– Имеется в виду новое произведение Анри Фармана? Этот двухместный аэроплан с воздушным винтом? Он разве уже построен?

– Да, господин Ронге, но, как вы понимаете, Фарманы не спешат знакомить госпожу Звереву и господина Слюсаренко с чертежами. Им предстоит самим разгадать все конструкторские ухищрения. Затем...

– Хватит. Подробности не важны. Дама-конструктор – это любопытно. Такое только в России возможно. Слю-са-рен-ко... Портрет есть?

– Извольте.

Зайдель достал из папки еще две фотографии.

– Тут он в летном шлеме, но черты лица разобрать можно...

– Ясно. Хм... простое лицо, очень простое... с таким лицом трудиться уличным торговцем или сапожником...

Ронге замолчал.

У него было достаточно сведений, чтобы принять решение. Аэроплан-разведчик – что это? Игрушка, баловство, во время военных действий не имеющее смысла? Или опасность? На что способна такая машина? Не будут ли напрасно потрачены деньги – когда окажется, что затеи госпожи Зверевой и ее любовника лишены практического значения? Не лучше ли взять в разработку самих братьев Фарманов? Вон, о них уже набрано несколько папок, и с чертежами, и с описаниями.

Чем занимаются и что собираются совершить Фарманы – в общем-то известно... А эта парочка что может натворить? Если они взлетают, падают, врезаются в землю, ломают кости, а потом снова садятся на руль, или штурвал, или как там оно называется?..

А по лицам и не скажешь, что они таковы.

Когда мужчина и женщина беседуют в постели об аэропланах, они могут договориться до очень любопытных вещей...

Ронге вздохнул. Решение в его голове уже обрастало всякими подробностями.

Зайдель ждал, стараясь соблюдать каменное выражение лица. Он потратил время на докладную записку, дело уже заинтересовало его – и ему не хотелось, чтобы труды пропали безо всякой пользы для империи, Франца-Иосифа, будущего Австро-Венгрии, ну и для себя лично.

Ронге выждал еще немного – пусть решение будет для подчиненного выстраданным праздником.

– Ну что же, будем действовать, друг мой Зайдель, – сказал он почти весело, во всяком случае – доброжелательно. – Будем добывать чертежи этих ужасных летающих этажерок и этих гениальных рижских моторов. Французские у нас почти в кармане, а что касается русских... Попробуем привлечь на нашу сторону этих молодых безумцев. Будем внедрять наших людей на «Мотор» и «Руссо-Балт». Кого вы бы рекомендовали для выполнения задания?

– У нас есть свои люди и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в Риге. В приложении список агентов с краткими характеристиками, извольте...

Ронге открыл глаза и взял протянутые листы.

– Так, так... – сказал он. – Тюльпана я знаю, очень толковый агент... Производит отличное впечатление на молодых дам, о зрелых уж молчу. Женщина, женщина... Если эта госпожа Зверева сделала своим любовником господина Слюсаренко, то нам нужна красивая женщина... Предварительное мое решение – Тюльпан, Кентавр и... Альда? А, Зайдель?

– Весьма услужлива, господин Ронге.

– И это все, что можно о ней сказать? – Ронге усмехнулся; он знал, что Альда побывала в постели у Зайделя, но, с другой стороны, постная рожа подчиненного и его флегматический нрав могли сподвигнуть молодую красавицу разве что на услужливость. – Ладно, пусть будет Альда. Это для нее прекрасная возможность освежить гардероб. Девочек нужно баловать. Двое мужчин и женщина – хорошее сочетание, не так ли, Зайдель? Для начала хватит. Подготовьте для них точные инструкции и принесите мне на согласование.

– Будет сделано, господин Ронге.

Глава первая

Общий вердикт был таков: Самсон Стрельский – старый дурак. Мужчины сказали это прямо, в глаза, а дамы выражались экивоками: чего удумал, совсем веяний времени не понимает, двадцатый век же на дворе, и кем нужно быть, чтобы ворошить древнюю рухлядь? Но дамы именно это имели в виду: старый дурак Самсон Стрельский предлагает нелепую авантюру, которая кончится бездарной тратой денег и гибелью репутации.

Репутация у труппы Кокшарова была. Да, не бог весть какая, провинциальная репутация, не столичная, однако – была! Артистов он собрал голосистых и ловких, мог с ними поставить любой водевиль, любую модную пьеску с музыкой и танцами. И когда Кокшарову пришло письмо с коммерческим предложением от давнего приятеля-антрепренера Маркуса, ставшего владельцем летнего концертного зала в Бильдерингсхофе, что на берегу Рижского залива, это было заслуженное потом и кровью предложение.

Концертный сезон на Рижском взморье недолог, четыре месяца, это вам, господа, не Крым, но какая почтенная публика там собирается! И из Петербурга, и из Москвы едут отдохнуть, развлекаться, подышать ароматами моря и соснового леса. Многие знатные особы имеют собственные дачи в двадцати верстах от Риги, на побережье в Эдинбурге, особы попроще – в Майоренхофе, а есть и такие, кто забирается подальше – в Дуббельн, в Ассерн и даже в Шлокен. Не всякая публика желает летом обременять себя громоздкими шедеврами возвышенного искусства, большинству подавай певичек, танцорок, отдельные номера из любимых опереток. А у Кокшарова все дамы в труппе поют, да и прелестно поют.

Казалось бы, составь ты, Кокшаров, две или три концертные программочки, с романсами, со смешными сценками, выдай дамам аванс, чтобы освежили туалеты, прикупили чулочков и шляпок, да и вперед! С этой целью он и собрал труппу на совещание – записать разумные идеи и набросать эти самые программочки, чтобы достойно ответить господину Маркусу.

А старый дурак Самсон Стрельский тяжеломерно воздвигся, как злосчастный памятник государю Александру Третьему, о котором язвительные петербуржцы сложили эпigramму:

Стоит на площади комод,
На комодѣ – бегемот,
На бегемотѣ – обормот...

Скульптор Паоло Трубецкой, как выяснилось, задался целью изобразить одно животное на другом и изваял огромного болвана с угрюмым взглядом из-под насупленных бровей. Некоторая логика в этом имелась – царь был ростом в сажень без пяти вершков, под старость растолстел и сделался огромен. Точно таков стал к шестидесяти годам и Самсон Стрельский. Но сам он считал это импозантностью и даже придавал себе объема свободными костюмами и пальто, особенно светлыми, летними.

Итак, он воздвигся и заявил, что дешевые дивертисманы и одноактные пьески хороши для города Урюпинска, а в Бильдерингсхофе следует показать целый спектакль в два или даже в три акта. Его ехидно спросили, угодно ли ему ставить «Гамлета» или балет «Спящая красавица». Он отвечал:

- Мы можем без труда поставить «Прекрасную Елену»!
- Что? – спросил потрясенный Кокшаров. – Какую еще Елену?
- Оффенбахову, Иван, какую ж еще. А я бы превосходно сыграл жреца Калхаса.

– Так... – Кокшаров забормотал, что-то вычисляя на пальцах. – В одна тысяча восемьсот восемьдесят первом году, поправьте меня, господа, коли ошибся... или даже в восьмидесятом! Примерно тогда ваша «Прекрасная Елена» с треском провалилась в Саратове! И с той поры канула в небытие! Позволь – ежели ты в семидесятом играл в Саратове Париса...

– Я был еще совсем дитя, – быстро сказал Стрельский. – Невинное дитя с пухлыми щечками!

– Ладно, я не стану копаться в церковных книгах, добывая дату твоего крещения, Самсон. Мне о ней даже подумать страшно. «Елена» безнадежно вышла из моды, и мы не станем обсуждать эту глупость. Дураком нужно быть, чтобы предлагать публике такое старье. Сударины, продолжаем. Госпожа Селецкая? Вы, помнится, исполняли куплеты Коломбины?..

Но Стрельский, удостоившись дурацкого титула, не уgomонился, а стал плести интриги.

Иван Данилович Кокшаров имел в труппе даму сердца – как же без этого? Когда их роман начался, Кокшарову было сорок два, а Настеньке Терентьевой, она же – госпожа Зинаида Терская, двадцать восемь. Ныне, в двенадцатом году, Кокшарову исполнилось пятьдесят пять, Терской же... двадцать девять. Переступить тридцатилетний рубеж она решительно не желала.

Стрельский повел правильную осаду красавицы и объяснил ей, что спеть романс про цветочки запоздалые может в труппе любая актерка, а выйти на сцену в роскошных туниках и диадемах Елены Прекрасной – только одна, да еще так выйти, чтобы публика ахнула: да, да, это именно Елена Прекрасная, такой она является во сне гимназистам, вынужденным изучать Гомерову «Илиаду»!

Госпожа Терская была умна – понимала, что вокруг постаревшего Кокшарова вьются мечтающие о первых ролях театральные девы, которым пока еще не приходится скрывать возраст, и он может в какую-то отвратительную минуту грехопасть – для того лишь, чтобы самому себе сказать: я еще мужчина о-го-го! То есть нужно поддерживать его страсть к себе, всячески показывая: я самая лучшая!

Как одевалась Елена Прекрасная, Терская представляла себе – но не потому, что изучала историю изящных искусств, а по театральным байкам. Она, конечно, не помнила, что пикантную оперетту Оффенбаха поставили в Александринке в 1868 году, актрисе цифры ни к чему, но вот про тунику госпожи Лядовой, игравшей Елену, про тунику с разрезом до самого бедра и про скандал, связанный с этим разрезом, Терская прекрасно знала. Идея показать ножку ей понравилась, а когда Стрельский напел выходную арию Елены про любовь-святыню, Терская уже стала ломать голову над прической и туфлями. Ибо хоть ты древняя гречанка, хоть царица вавилонская, хоть римская весталка, а прическа у тебя должна быть наимоднейшая, равным образом – и бриллианты на шее и в ушах, какая же заглавная роль без бриллиантов?

Вот и вышло, что в апреле 1912 года труппа Кокшарова, готовясь к выезду на Рижское взморье, всю репетировала «Прекрасную Елену».

Списались с Маркусом, он обещал добыть в Рижском втором городском театре или в обществе «Улей» декорации. Задник с древнегреческим пейзажем и мебель Маркус рассмотрел, сложности возникли с галерой, на которой приплывает царевич Парис, чтобы обманом увести Елену. Без галеры было никак – если без нее, то публика сильно изумилась бы глупости царя Менелая и его товарищей-царей, которые не связали пришедшего пешком нахала Париса, не сдали его в полицейский околоток, а Елену за косы не водворили в ее будуар. Несколько писем посвящены были именно этой конструкции на маленьких колесиках, с мачтой и парусом. То, что мачта была ростом с Париса, никого не смущало, театр все-таки, и даже сам господин Станиславский не стал бы восклицать «Не верю!», поскольку имел немалый опыт выступлений в опереттах и понимал их особенности.

Что касается текста пьесы, то Стрельский объяснил Кокшарову: именно его отсутствие пойдет на пользу делу. В городе и окрестностях происходит немало всяких недоразумений, их-то и нужно втащить в спектакль, под завязку набив его веселыми или пикантными намеками. Это прием испытанный, и публика побежит на «Елену Прекрасную» не только ради стройных ножек Терской, но и ради лихой злободневности. А если еще древние греки начнут поминать рубли с копейками и железную дорогу, так вообще получится прелестно. Кокшаров подумал – и согласился.

Маркус прислал рижские русские газеты для поиска всяких смехотворностей, вся труппа сочинила себе забавные словесные перепалки, а Кокшаров, насмотревшись рекламных картинок, прославляющих рижское пиво, списался с пивным заводом Стрицкого, который предлагал и «Рижское баварское», и «Столовое», и «Монастырское», и много иных разновидностей пива. Поскольку древнегреческим царям все равно предстояло пировать и пьянствовать, то они могли бы размахивать пивными бутылками, от чего публике радость, а Кокшарову – доход. Сделка состоялась.

Труппа была невелика, и мужских ролей оказалось больше, чем мужчин-актеров. Тем более – требовались актеры поющие. Кокшаров решил сам играть поэта Гомера, покамест еще не слепого, а просто близорукого. Парисом он назначил первого героя-любownika Андриана Славского, хотя и без энтузиазма: Парису следовало являться на сцене без штанов, в коротком хитоне, или как там эта древнегреческая тряпица называется, а герой-любownik, имея смазливое личико, был малость кривоног. Но возникло недоразумение с царями Аяксами.

Их по сюжету было два. И выпускать одного Кокшаров не хотел – публика бы его не поняла. Со времен премьеры «Прекрасной Елены» закрепилось в русской речи выражение «два Аякса», так называли парочку друзей-бонвиванов, которые, подвыпив, шастают в поисках приключений на деликатные части телес.

Поскольку «Елену» решили сделать развеселой, то следовало пустить в ход испытанную шутку: чтобы один из Аяксов, царь Саламина, был длинный и тощий, другой же, царь Локриды, – маленький и пузатый. А в труппе, как на грех, актеры были в основном среднего роста. Самый высокий, Стрельский, мертвой хваткой вцепился в выигрышную роль жреца Калхаса. Авенир Лиодоров, малость его пониже, получил роль Ахилла – благодаря удивительно тощим ногам. В сцене выхода царей ему следовало петь: «Я царь Ахилл, бесподобен, хил, бесподобен, хил, бесподобен!» – и тут ноги были весьма кстати. А низкорослый Савелий Водолеев был выбран на роль царя Менелая, супруга Елены. Он как раз был ниже Терской, и возникал нужный комический эффект.

Кокшаров позвал Стрельского с Водолеевым, они устроили военный совет, а когда кое-как протрезвели, написали в Москву актеру Скорпионскому, позвав его в тощие Аяксы. Он был одного роста со Стрельским и имел неплохой тенор. А Аякса-пузатого Маркус обещал найти в Риге, чтобы ввести его в уже готовый спектакль с парочки репетиций. Был у него кто-то на примете, и за голос владелец зала ручался.

Кроме того, Кокшарову удалось быстро решить еще один вопрос. Актриса Глафира Ордынцева по секрету призналась ему, что беременна. Она даже довольно точно назвала срок будущих родов. Но хвататься за голову антрепренеру не пришлось – приятель, путейский инженер Кольцов, еще до того подсказал ему пригласить Генриэтту Полидору. Генриэтта жила с богатым купцом Севастьяновым, который забрал ее из театра и поселил в хорошей квартире, пока не явилась Глафира и не изгнала соперницу из купеческого сердца. Теперь же Глафире хотелось выпроводить Полидору в такие географические дебри, каких и на карте не сыскать, чтобы спокойно разбираться с Севастьяновым и со своей беременностью. А Генриэтте хотелось убраться подальше, причем Рига ее очень даже устраивала, и за большим жалованьем она не гналась. Кольцов привел артистку, Кокшаров послушал, как

Полидоро поет, и решил, что для второстепенной роли гетеры Леоны сойдет. Худошава не в меру, и неудивительно, что купец предпочел грудастую Глафиру, однако бюстом в «Елене» будет блистать Терская, и второй столь же роскошный пришелся бы некстати.

С женскими ролями все утряслось быстро. Терская была, понятно, Еленой, Валентине Селецкой досталась роль Ореста – традиционно дамская; опять же, древнегреческий наряд позволял блеснуть ножками. Двух гетер, Парфенис и Леону, играли Полидоро и Тамара Оленина, которая была вовсе не Тамарой, а Танюшей Ивановой.

Это юное создание Терская привела в труппу недавно и всем объявила, что-де племянница, дочь покойной сестрицы. А как было на самом деле – актрисы подозревали: не могла же Терская, отродясь замужем не бывавшая, открыто признаться, что имеет внебрачную дочь, да еще такую взрослую. Для двадцатидевятилетней мамыши иметь девятнадцатилетнюю дочку – по меньшей мере странно...

Имя Тамара Оленина девушке дивным образом шло – Танюша была невысокая брюнетка с выразительными черными глазами (Кокшаров, едва увидев ее, вспомнил слухи, ходившие о Терской и некоем грузинском князе), гибкая и изящная, но скорее спортсменка, а не актриса; она и в Ригу потащила с собой любимый велосипед. Кроме того, она со всем пылом юности обожала лиловый цвет, и внушать ей, что он больше подходит даме средних лет, желательно уже овдовевшей, было бесполезно.

Последнюю женскую роль, Елениной рабыни Бахизы, поручили Ларисе Эстергази, ветеранше кокшаровской труппы.

Когда труппа прибыла в Москву, оказалось, что Скорпионский сломал ногу. Его навестили, он лежал в постели, показал ногу в лубках, но Кокшарова не подвел – нашел себе заместителя. Заместитель был, как и требовалось, высок, худошав, длинноног, с прекрасной выправкой и изумительно ушат. Новенький имел опыт выступлений на домашнем театре, но мечтал о настоящей сцене. Кокшаров его проэкзаменовал и остался доволен голосом, манерами, артистическими способностями. Звали долговязого Егором Ковальчуком, но мудрый Кокшаров перекрестил его в Георгия Енисеева.

На Енисеева как на коренного москвича возложили задачу раздобыть у московских старожилов партитуру «Прекрасной Елены», и он очень быстро ее принес. Оказалось, память почти не подвела Стрельского – актеры очень правильно заучили с голоса и слова, и музыку.

В Ригу приехали в начале мая. Жить предстояло в Майоренхофе, тратить деньги на дорогие рижские гостиницы не стали, а Маркус снял на несколько дней комнаты, что выходило не в пример дешевле. Пока дамы бегали по рижским лавкам и знакомились с модистками, Кокшаров прослушал второго Аякса. Тот действительно был невысок, крепкого сложения, а изготовить себе брюхо брался из плотной подушки. Он отрекомендовался потомственным рижанином с немецкими корнями, что вытекало из фамилии – Гроссмайстер и из непривычного для русских провинциальных актеров местного акцента. Имя у него было хорошее – Александр, а сценический псевдоним придумали такой: Лабрюйер.

Откуда это звучное слово попало к нему в голову, Кокшаров не задумывался. Слово было французское, великосветское, аристократическое, значит – годилось.

Особых актерских талантов у новоявленного Лабрюйера-Аякса не было, более того – он ходил по цене, словно аршин проглотивши, и те слова, которые должен был говорить, не произносил, а выкрикивал. И вид имел хмурый, будто всю родню похоронил. Но и это шло на пользу делу, поскольку, помимо воли Лабрюйера, производило убийственный комический эффект.

Аяков свели вместе, посмеялись, и Кокшаров вздохнул с облегчением: вроде бы все роли нашли достойных исполнителей, да и фигуранты, четверо рижских студентов, на лето устроившихся в Эдинбург репетиторами к богатым недорослям, двигались и разевали рты

весьма прилично. Порепетировав на сцене «Улья», устроили показ для Маркуса. Он хохотал, как дитя, и предрек «Елене» светлое финансовое будущее.

Потом к Кокшарову пришла дамская делегация – Терская и Селецкая. Они просили еще денег.

– Я же выдал вам аванс! – возмутился Кокшаров. И Терская рассказала, что в рижских закоулках найдена дивная модная лавка, где поразительный выбор шляпных булавок, и нужно набрать их впрок – это же прекрасный подарок, особенно в новом стиле – со зверюшками, змейками и бабочками.

– Разве не прелесть? – спросила Селецкая, осторожно вынимая из шляпы длинную булавку, головка которой была очень тонкой работы – золотая, изображавшая муху в ажурном овале, а крылышки мухи – два аметиста-кабошона. – Она одна такая была! Подумайте, Иван Данилыч, как мы с этими булавками будем блистать в столице!

– Тьфу, – сказал на муху Кокшаров. Одна ее неслыханная величина могла вызвать отвращение.

– И вовсе не тьфу, хозяин лавки отыскал дивного ювелира, который только на него работает. Теперь понимаешь, что это очень выгодные приобретения? – спросила Терская. – На нас все будут смотреть.

У нее самой шляпа крепилась к пышным русым волосам (волосяное бандо было искусственным, конечно, натуральных волос так много не бывает) тремя булавками, одна изображала египетского скарабея, другая – цветок с жемчужиной в сердцевине, а третья – ящерицу.

– Это, конечно, ужас и кошмар, но вы должны обращать на себя внимание, – ответил Кокшаров, доставая бумажник. – Воображаю, каких монстров наберет там госпожа Эстергази!

Труппа после маленькой войны (дамы хотели ехать морем и любоваться на пейзажи) погрузилась в вагон второго класса поезда, идущего в Шлокен, и через час уже была в Майоренхофе.

– А вот если соберетесь к нам на шtrand в будущем году, то и пересаживаться не придется, – сказал Маркус. – Обещают прямые поезда из Петербурга и Москвы до самого Шлокена. Доедете как короли. Сейчас-то мы удачно устроились, едем сидя, потому что вторник. А в субботу днем и в воскресенье с утра десять тысяч человек на шtrand выезжают! Воображаете, какая в вагонах давка?

Поезд остановился у длинного деревянного вокзала, покрашенного зеленой краской. Со стороны железной дороги он представлял собой бесконечный навес, подпираемый тонкими колоннами. Под навесом прогуливались дамы, ожидавшие поезда, и там же процветала мелкая торговля – мороженым, имбирными пряниками, пивом и всякой дребеденью. В стороне стояла прислуга с местных дач, охраняя большие тюки с грязным бельем, – прислуга ждала поезда в Ригу, чтобы погрузить тюки в особый вещевой вагон, а там бы их встретили служители прачечных. Через два дня выстиранное белье тем же вагоном прибыло бы обратно.

От железнодорожного полотна перрон отделялся барьером с проходами, у которых контролеры проверяли билеты; если безбилетник и умудрялся в Риге проскочить в вагон, то на выходе бывал схвачен и привлечен к ответственности. Поэтому они обычно соскакивали на ходу между станциями, рискуя за какой-то полтинник сломить себе шею.

– Слава те, господи, – сказал Кокшаров, предъявив билет и выйдя на перрон. – Обошлось без драм. Теперь все пойдет как по маслу.

Ох, рано он это сказал...

Глава вторая

Маркус имел о галерах темное понятие. Да и о флоте тоже, хотя жил в портовом городе. С другой стороны, современные пароходы вряд ли похожи на древнегреческую галеру, а копаться в увражах и изучать картинки со старинных ваз у него не было ни времени, ни желания. Маркус встретился с плотником Петером Клявой, потомственным жителем Майоренхофа, и дал задание: соорудить нечто на колесах, с мачтой, и чтобы там два человека помещалось. Клява, человек пожилой и честный, уточнил на плохом немецком, что первоначально – вид или способность к передвижению. Маркус подумал – черта ли в том виде, можно украсить сооружение драпировками, древние греки придирались не станут. Клява взял задаток, а готовую галеру, имевшую вид знакомой ему рыбацкой лодки, привез на телеге к концертному залу в тот самый день, когда Кокшаров назначил первую репетицию.

– Боже мой! – воскликнула Терская. – Это же ванна на велосипедных колесах! Увольте, господа, я при всем честном народе в ванну не полезу!

– Зато как ездит?! Вы полюбуйтесь, как ездит! – Маркус толкнул галеру, и та очень резво покатила по улице, насилиу догнали.

– Вот вы в этом кошмаре и катаетесь, герр Маркус! А я не стану! У меня туалет и без того пикантный – если я задеру подол, чтобы залезть в вашу галеру, публика увидит мои панталоны!

Маркус ахнул: следовало объяснить Кляве, что галера должна быть галерой только с одного бока, того, который увидит публика, а с другого – иметь ступенечки для примадонны. Клява же сам до такой тонкости не додумался.

Началась перепалка, искали виноватого. Кокшаров должен был прислать точное описание и чертеж галеры, Маркус должен был пустить в дело мозги! Актрисы с наслаждением слушали, актеры отошли покурить.

– Вот уж влипли, – сказал Савелий Водолеев. – Хотя не впервой... Придется тому же плотнику, пока не сбежал, заказать лестницу.

– А мизансцену строить так, чтобы мы ее до поры собой прикрывали? – осведомился Лиодоров. – Ерунда получится. Мы стоим слева – то есть на суше. Галера прикатывает справа – то есть с моря...

– Может, кто-то под прикрытием галерного борта живенько вынесет проклятую лестницу? – предложил Стрельский. – Скорчась, чтобы башкой не торчать.

– Разве что сама госпожа Терская, под складками хитончика... – шепнул, чтобы дамы не услышали, Алеша Николев – исполнитель роли Агамемнона, недавний гимназист, сбежавший из дому ради высокого искусства и пленивший Кокшарова густым и совершенно не соответствующим возрасту и телосложению басом.

– И мне эта ванна не нравится, Терская права, – заметил Лабрюйер. – Она недостаточно серьезна, чтобы навести на древнегреческие мысли, и недостаточно смешна для балагана.

– Ну да, у настоящей галеры должны быть весла, и она сажен двадцати в длину, пожалуй. Это поболее всего зала господина Маркуса, – сказал Енисеев. – А вот что, господа – на кой нам вообще эта жуткая галера?

– Как же без нее? – возмутился герой-любовник Славский. Сцена увоза Елены на галере была его личным маленьким бенефисом.

– Подумайте, господа, раз уж мы надергали из рижских газет всяких местных словечек, то отчего так цепляемся за эту галеру? Пусть уж и финал новому стилю соответствует!

– Прикажете увозить Елену на рижском ормане? – ехидно полюбопытствовал Славский, уже щеголяя местным названием извозчика.

– Нет, Славский, я придумал кое-что получше – и весьма для вас выигрышное. Аплодисменты будут безумные, – пообещал Енисеев. – Вы прилетите за Еленой на аэроплане! Вот это будет настоящий финал – а не дурацкая ванна на колесах!

– А не вдарить ли по пивку, господа? – предложил Лабрюйер.

Его любовь к хмельным напиткам в труппе уже отметили, особенно дамы. А триумфы Славского его мало волновали.

– Погодите, Лабрюйер... То есть как это – на аэроплане? – спросил потрясенный Славский.

– А что тут такого? Здесь в предместье, в Солитюде, на ипподроме постоянно полеты совершаются, и даже дамы летают. Модное увеселение, так сказать, – отвечал Енисеев. – Вы же сами в газетах читали – вся Рига туда ездит. Так отчего же не похитить Елену на аэроплане? Коли у нас царь Менелай выходит с сигарой, а две гетеры – с кружевными зонтиками? Вот это будет пуант!

– Но как же? Это же, выходит, аэроплан сверху спускать надо? Целое устройство мастерить? – актеры затеяли дискуссию, к которой пару минут спустя, привлеченные шумом, присоединились Маркус и Кокшаров. Подошли и актрисы.

– Но, когда я играла в Петербурге, это было обычное дело – воздушные полеты, – сказала Терская. – Всякого купидона спускали на веревках, и он болтался над сценой, и ни разу не было, чтобы сорвался. Да чего только в столице над сценой не подвешивают! В Мариинке, когда ставят балеты, чуть ли не целый храм могут из-под колосников опустить, вместе со жрецами и прочей прислужкой!

– А что? – спросил Кокшаров. – Это и для афиши выгодно! Прекрасная Елена на аэроплане! Публика на это пойдет!

– И из Майоренхофа приедут, и из Шлокена, – согласился Маркус. – Только надо бы командировать плотника Кляву на ипподром, чтобы разглядел эти летательные устройства. Я полагаю, нашему аэроплану и летать-то не обязательно. Даже если его вытащат на веревках, как волжские бурлаки баржу, – тем забавнее получится...

И тут вмешались дамы. Их возмутило, что в модное увеселительное место, где собирается цвет рижского общества, командируют какого-то плотника, а им приходится тосковать на даче, утешаясь прогулками по пляжу – пусть даже очень хорошему пляжу с чистым, светлым и мелким песочком.

Лабрюйеру было неинтересно слушать весь дамский ансамбль, такое количество голосистых женщин действовало на него угнетающе, особенно раздражала Эстергази, ему хотелось пива. И тут Енисеев проявил отменную сообразительность.

– А что, не сходить ли нам развеяться? – вполголоса предложил он. – Все равно ведь сейчас уже ничего любопытного не произойдет. И полеты совершаются, сколько я знаю, по утрам – без нас в Солитюд дамы не поедут.

– А ежели и поедут – беда невелика, они не заблудятся. Ипподром на полпути к шtrandу, – используя рижское словечко, означающее «взморье», ответил Лабрюйер и покопился на дам; мощная Эстергази совершенно заслонила хрупкую Валентину Селецкую, и это его огорчило – Селецкая сразу произвела на него впечатление, видеть хотелось именно ее. – Или чуть ближе к Риге, я там версты не считал. Едучи на шtrand, его отлично видно слева в окно – он чуть ли не примыкает к железной дороге. С утра, если едешь, видишь летунов – они там в небе восьмерки пишут.

– А может ли быть так, что аэроплан, взлетев и потеряв управление, рухнет на рельсы? – спросил, заинтересовавшись, Енисеев.

– А что, и очень даже просто, – согласился Лабрюйер.

Пока Кокшаров с Маркусом обсуждал новую затею, они сбежали, взяли ормана и показали в одно из эдинбургских пивных заведений.

– Откуда столь шотландское название? – спросил Енисеев.

– От низкопоклонства, – объяснил Лабрюйер. – Тут раньше были рыбацьи хутора. Полсотни лет тому назад местность вошла в моду – стали строить богатые дачи. Тут летом столичные господа отдыхают – графы и князья, это их удел, то бишь привилегия... Ну, вот они и додумались до Эдинбурга. Лет этак тридцать или даже тридцать пять назад... Это нужно у стариков спрашивать, хотя и они чисел не помнят... Так вот, тогдашний государь император отдал дочь за герцога Эдинбургского. И здешние жители таким макаром, то бишь манером, отметили браковенчание...

– Любопытно, – усмехнулся Енисеев. – Каких только фантазий не увидишь в провинции...

Три часа спустя, когда солнце уже погрузилось в спокойные воды залива, оставив лишь багровую дорожку чуть ли не до берега, оказалось, что провинциальной фантазии далеко до столичной. Набравшись пива, заполировав его сдуру здешним сладким ликерчиком кюмлем, поправив дело черным бальзамом и чем-то еще, оба Аякса вздумали репетировать. Как-то так вышло, что к ним присоединились лихие девицы и веселые господа. Енисеев повел все общество на пляж и там учинил выходную сцену царей из «Прекрасной Елены». Возле мостков, ведущих к большой эдинбургской купальне, он выстроил публику полукругом, сам взбежал, таща за собой Лабрюйера, на мостки, и оттуда уже они в обнимку двинулись к берегу, приплясывая и распевая:

– Мы шествуем величаво,
Ем величаво, ем величаво,
Два Аякса два, ах, два Аякса два!
О нас победная слава,
Бедная слава, бедная слава,
Лестная молва, да, лестная молва!

При словах «ем величаво» Аяксы гладили себя по животам, а про «бедную славу» пели скорбно, к большой радости публики. И дальше вся компания шла по берегу, голоса:

– Готовы на бой кровавый
За свои права!
Мы шествуем величаво,
Ем величаво, ем величаво,
Два Аякса два, да два Аякса два!

Хор получился громкий, но нескладный, и кончилось музыкальное безобразие в полицейском участке, причем девицы заблаговременно пропали. Наутро Аяксов вызволяли из участка Маркус с Кокшаровым. Разговор был неприятный, но обошлось – полицейские тоже люди и кое-как понимают необычайные потребности творческих натур. К тому же Кокшаров щедрой рукой раздавал контрамарки и выхваливал своих красавиц-актрис. Енисеева с Лабрюйером ему, соблюдая все нужные формальности, отдали и попросили вперед пить пиво не в аристократическом Эдинбурге, а где-нибудь в Туккуме или Шлокене.

– Ничего страшного, это реклама, – сказал Кокшаров. – Но штраф за нарушение спокойствия я вычту из вашего жалованья, господа Аяксы.

Лабрюйер попытался было объяснить, что в авантюру его втравил Енисеев, но Кокшаров с Маркусом не поверили.

Прелестная музыка Оффенбаха имела прилипчивое свойство – как-то так вышло, что все, слышавшие исполнение Аяксов, а пели Аяксы хорошо, запомнили мелодию и мурлы-

кали ее в лад ходьбе, а иные подбирали на фортепиано, гитарах и даже губных гармониках. Опять же, Маркус отыскал в Дуббельне приличный оркестр, и нужно было быстро разучить с ним всю музыку оперетты. Антрепренер, посмеиваясь, заметил, что во время репетиций меломаны будут висеть на заборе, и это хорошо – публика любит узнавать знакомые мелодии.

– Надо попросить господина Стрельского порепетировать с этими сапожниками, – сказал он Кокшарову, – раз уж Стрельский знает партитуру. А мы возьмем Кляву и с утра поедem на ипподром. Только с плотником придется говорить по-немецки – немецкий он знает прилично. По-русски же – только отдельные слова и употребляет их, к сожалению, даже при дамах.

Сам Маркус говорил по-русски очень бойко – выучился, прожив десять лет в Петербурге. Для остзейского немца-рижанина это был своеобразный подвиг – Рига с тех самых времен, когда ее стали строить немецкие крестоносцы, была исконным немецким городом, и даже вся государственная документация до последнего времени велась на немецком языке. Население штранда, обслуживавшее русских дачников, научилось языку поневоле: когда от этого твои доходы зависят, и по-китайски зачирикаешь. Немцам-лавочникам было легче – один дополнительный язык, в придачу к родному, еще как-то можно переварить. Латышской прислуге и рыбакам, жившим на побережье, было труднее – немецкий они осваивали на ходу, самоучками, весь год, а русский – только в сезон, длившийся обыкновенно с 15 мая по 15 сентября, за зиму же слова из головы напрочь вылетали.

На следующее утро наметили посещение ипподрома.

Кокшаров запасся бумагой и карандашами, чтобы изображать аэропланы. Можно было, конечно, нанять одного из тех фотографов, что промышляли в Майоренхофе и Бильдерингсхофе, но делать снимок в ателье, полчаса перед тем выставляя свет и покрикивая на модель, чтобы не шевелилась, и на огромном ипподроме, где все в движении, а летательные аппараты далеко от публики, – две разные вещи. Результат известен – достаточно посмотреть в газетах: висит в небе нечто черное и страшное, а публика внизу неразборчиво копошится.

Он смирился с тем, что вся женская часть труппы будет его сопровождать, но в одиночку возглавлять войско амазонок не желал и просил кого-то из господ актеров составить компанию.

Первым вызвался Лабрюйер, заставив дам очень выразительно переглянуться. Они уже заметили его интерес к Валентине Селецкой. За Лабрюйером потянулся и Енисеев. Вчерашний гимназист Алешенька Николев тоже выказал любопытство; еще десять лет назад гимназисты бредили дикими индейцами, а теперь им авиаторов подавай.

Теперь главное было – не опоздать на рижский поезд. Актрисы привыкли поздно ложиться – но и поздно вставать. Кокшаров с вечера предупредил, что сонных тетерь дожидаться не станет. Но дамы проявили удивительное мужество – и более всего его поразила госпожа Терская. Уж про нее-то он точно знал, что барыня любит просыпаться к обеду, а вишь ты – чуть ли не первой вышла в новеньком прогулочном костюме, изящно причесанная и с радостной улыбкой на устах. С ней была Танюша.

Терская нарядилась чуть более роскошно, чем полагается благовоспитанной даме с утра, и вдела в уши дорогие серьги – подарок поклонника, о котором Кокшаров предпочитал не спрашивать – из боязни услышать правду. Танюша была в скромном костюме (бледно-лиловом, каком же еще?!) и строгой шляпке без украшений. Зато Лариса Эстергази, актриса на роли благородных мамаш и королев, двадцать лет назад снизошедшая до труппы Кокшарова, несла на своей шляпе целые джунгли с цветами, перьями и только что не обезьянами. Терская с Селецкой как-то даже подметили, что с каждым годом количество шляпных украшений у Эстергази возрастает, и потихоньку держали пари, каким именно художеством она отметит свое пятидесятилетие, чучелком ли павлина или опахалом из перьев, как в балетах

из жизни турецких султанов. На самом деле даму звали Прасковьей Сопаткиной, а откуда ей перепала аристократическая венгерская фамилия, никто не знал. И возраст свой она успешно скрывала – от всех, кроме товаров, поскольку от актрис такое никогда не утаишь.

Лучше всех была одета Селецкая – в костюм серо-жемчужного цвета, с большими атласными лацканами, и шляпку с небольшим плюмажем, в полном соответствии с правилами хорошего тона – кто же утром расфуфыривается?

Пятая дама труппы, Генриэтта Полидоро, сказала, нездоровой и смотреть аэропланы не поехала. По этому поводу Терская с Эстергази обменялись мнениями: может ли такая тощая особа быть здоровой и не означает ли ее естественная бледность чего-то опасного?

Сопровождать дам уговорились Кокшаров, Маркус, Енисеев, Лабрюйер и Славский.

Утро было отменное – ясное и солнечное. В такое утро и не захочешь, а поддашься соблазну и вступишь в душу мечту о полете. И как-то она, эта мечта, удивительно гармонирует с пышной, стремящейся к небу всеми своими ароматными гроздьями, сиренью... крылатой сиренью...

Дачная хозяйка, узнав, что комнаты сняли русские артисты на весь сезон, сделала царский жест – подписалась на русские газеты. Ожидая дам, Кокшаров и Славский читали новости. Вдруг Славский присвистнул.

– Ого! Шустро работают! – и он показал Кокшарову страницу «Рижского курорта».

– Вот, извольте радоваться! – сказал Аяксам Кокшаров. – Слава настигла вас, господа! Бедная слава и лестная молва!

Фотография в газете была жуткого качества – репортер подстерег Аяксов, когда они выходили покурить на двор дачи, а снимал, очевидно, сидя верхом на заборе. Усы Енисеева еще можно было разобрать, а физиономия Лабрюйера оказалась серым невнятным пятном.

– Весьма и весьма, – сказал Енисеев. – Надо будет купить с десятков и отослать в Москву.

– Слава богу... – пробормотал Лабрюйер, имея в виду свою неузнаваемость.

Подошел Маркус с плотником Клявой и стал всех торопить. Плотник же молчал. У него за пазухой пиджака топорщился какой-то сверток. Спрашивать о свертке не стали – не отстает пожилой плотник от всей компании, и на том спасибо.

Глава третья

Оказалось, что многие дачники из Майоренхофа, Эдинбурга и Бильдерингсхофа хотят побывать на ипподроме. Перед Солитюдом вагон был уже полон. За несколько минут до того из Риги тоже приехала целая толпа. А у входа на ипподром стояли экипажи – конные и механические, поскольку не все любители авиации желали сковывать себя железнодорожным расписанием.

Кокшаров оглядел свое войско – с дамами он связывал большие надежды. На аэродроме непременно должны были быть репортеры из русских рижских газет – так пусть бы, заинтересовавшись, написали о кокшаровской труппе и ее примадоннах. По этой причине он и не сделал замечания Эстергази за ее вызывающий вид: должны же дамы обратить на себя внимание репортеров.

Солитюдский ипподром еще не имел богатой истории. Он появился в этой местности недавно – и не от хорошей жизни.

Когда образовалось Рижское общество верховой езды, оно решило завести свой ипподром – неподалеку от городского. Наняли известного архитектора, Карла Фельско, построили по его чертежам трибуны, ресторан и прочие необходимые заведения. Три года всадники-аматеры радовались жизни – иному с утра, чтобы прокатиться, довольно было улицу перейти. Но городская дума решила строить на месте ипподрома железнодорожную товарную станцию. Аматерам пришлось искать такое место, где можно было бы обосноваться надолго. Выбрали пустынный Солитюд, поставили конюшни, трибуны, стали устраивать соревнования, обучать желающих выезде и скачке с препятствиями. А потом на ипподром положил глаз весьма любопытный господин, совладелец завода «Мотор», где уже производились аэропланы. Звали его на русский лад Федор Георгиевич Калеп. Он велел воздвигнуть посреди скакового поля две высоченные мачты, украсить их разноцветными флажками, огородить круг пятидесяти метров в поперечнике, тщательно выровнять почвы в этом круге, чтобы ни камушка не торчало, его иждивением были поставлены при ипподроме здания мастерских, большие сараи и внушительное круглое здание с куполообразной крышей – авиационный ангар собственной конструкции.

Возле этого сооружения и стояла толпа – не менее двух тысяч человек, как прикинул опытный по части количества публики Маркус.

– И еще приедут, – пообещал он. – Когда тут в апреле госпожа Зверева впервые летала, более десяти тысяч человек сбежалось. Дамы в обмороках лежали, когда аэроплан на трибуны понесло!

– Незачем нам в толпе толочься, – решил Кокшаров. – Постоим пока в сторонке.

– Тем более что аэропланы еще не начали выводить, – заметил Енисеев. – А публика, смотрю, приличная...

– И одеты все хорошо, – подтвердила Эстергази. – Какие господа статные! Любодорого посмотреть.

– Это наши бюргеры, – объяснил Маркус.

– Вы тут, наверно, многих знаете? – спросила Селецкая.

– Весьма многих... – Маркус отлично понимал смысл дамских вопросов и стал рассказывать про самых видных кавалеров, причем потихоньку и даже отойдя с актрисами в сторонку.

Маркус знал жизнь этих женщин, по первому впечатлению – беззаботных, в дорожных шляпках, а на деле – штопающих по ночам единственную пару шелковых чулок. Он знал, какво прокладывать дорогу вверх, к хорошим контрактам, талантливой, но не имеющей богатого или влиятельного покровителя артистке. Образцовыми в этой среде считались

романы столичных танцовщиц из Мариинки, которые делались невенчанными женами аристократов и генералов.

Актрисы же видели, что владелец концертного зала их понимает, и откровенно спрашивали его о кавалерах: женат, овдовел, давно ли вдовствует?

– А вот, кстати, отменный жених идет, – шепнул Маркус. – Эрнест фон Сальтерн. По рижским понятиям, конечно.

– Так ведь уж женат, – ответила Селецкая.

Действительно, совсем близко под руку с высоким представительным господином, имевшим лицо свежее и моложавое, с аккуратной бородкой и щегольскими подкрученными усиками, шла дама средних лет, которую издали можно было счесть красавицей. Вблизи же было видно, что она безуспешно борется с мелкими морщинками, которые сеточкой легли на ее правильном, даже точеном лице. Шея тоже выдавала возраст дамы – Терская с Селецкой, переглянувшись, одними взорами сообщили друг другу: да ей, бедняжке, уж под пятьдесят...

Но стремительные взоры вместили в себя не только математические рассуждения. Они были – как спрессованный в единый миг диалог: «У него красивые глаза. – Голубые. – Мужчина видный и плотный. – Котелок ему не к лицу. – Одевается у прекрасного портного. – Этот тебе не по зубам. – И тебе не по зубам».

– Нет, это его сестрица, – сказал Маркус, – вдовушка, Регина фон Апфельблум. Он ее выписал к себе из Дюссельдорфа, чтобы вести хозяйство. Сам он также вдовец.

– Старшая сестрица? – невинно осведомилась Терская.

– А может, и младшая. А что завидный жених – сейчас объясню. В Риге населения примерно двести восемьдесят тысяч человек – с Петербургом не сравнить. Но право участвовать в муниципальных выборах имеют три тысячи человек с небольшим. Ценз – недвижимость на сумму более ста тысяч золотых рублей. Так что у нас, извольте видеть, своя финансово-земельная аристократия.

– Воображаю, какие нравы у здешних баронов, – в голосе Терской было отчетливое высокомерие. – Как у их тупоголовых предков, поди...

– А вот и ошибаетесь. Эти избиратели – публика просвещенная и либеральная, – вступился за земляков Маркус. – Знаете ли, что более десяти лет назад эти потомки баронов выбрали городским головой англичанина? Георга Армистеда? И не прогадали – при нем Рига просто процветает. Так вот, фон Сальтерн – один из трех тысяч.

Если бы Кокшаров в этот миг видел лицо Терской, он сильно бы пожалел о решении вывезти актрис на ипподром. А на лице было написано примерно такое: ах, если бы удалось из подруги антрепренера, который никогда не заработает настоящих денег, стать супругой богача!

Терская по-своему привязалась к любовнику – он сделал ее примадонной труппы и позволял блистать, пусть и в провинции. В ее возрасте это было неплохо. Но если подумать о будущем... В свое время она не захотела женить на себе Кокшарова – все думала, что вот-вот найдет что-нибудь получше. А теперь заводить речь о браке значило сразу проститься со званием примадонны – вон, Селецкая спит и видит, как бы спихнуть Терскую с трона, и костлявая Генриэтка Полидориха тоже на все готова. Причем обе моложе Терской чуть ли не на десять лет, и Кокшарову это прекрасно известно. Недвижимость на сто тысяч золотых рублей... И ведь, наверно, не только недвижимость...

Но показывать Кокшарову свой интерес к рижскому богачу Терская не желала. Она даже повернулась в другую сторону – не к сараям, в которых держали аэропланы, а к конюшням. Ипподром продолжал оставаться ипподромом, и там устраивали конские бега, а некоторые рижане держали в конюшнях собственных своих лошадей – под присмотром опытных конюхов.

Лошадники делали вид, будто их авиация не волнует. Солитюдский ипподром был за городской чертой, окружали его мызы, сады и огороды, меж которыми простирались пустые проселочные дороги – разве что телега проползет или местный житель провезет на тачке навоз для соседского огорода. Эти дороги были удобны для конных прогулок – тем более что на солитюдском ипподроме состязались лошади не рысистых, а скаковых пород, и им были полезны прогулки в малознакомых местах с тщательно продуманным распорядком шага, рыси и галопа.

Поскольку сам ипподром был занят авиаторами и публикой, конники как раз и собирались для такой прогулки. Несколько мужчин и две дамы, одетые по-мужски, уже сидели в седле. А один лихой наездник показывал на своем скакуне фигуры венской школы езды. Прекрасно выезженная лошадь делала правильные лансады и кабриоли, вовремя поджимая задние ноги. Всадник сидел на коне как приклеенный. И Терская, сперва просто желавшая отвлечь внимание Кокшарова от фон Сальтерна, всерьез залюбовалась наездником.

Мужчины обратили на него внимание поневоле, но оценили мастерство.

– Душка! – таков был вердикт дам.

– Истинный кентавр, – сказал Енисеев. – Видал я наездников, но чтобы совершенно слиться с лошастью...

– Держу пари, это циркач, – вмешался Лабрюйер. – Не иначе, кто-то из наших бюргеров нанял себе тренера в цирке Саламонского. Там такие мастера выступают – все гарнизонные офицеры приходят любоваться и учиться. А какие лошади!

– Вы любитель лошадей? – спросила Эстергази.

– Платонический любитель, сударыня. Отродясь ни на одну парнокопытную скотину не садился.

Ответ был быстрый и несколько испуганный: ну как актриса затеет длинный разговор о кобылах и жеребцах?

– Лошадь – скотина непарнокопытная, – поправил Енисеев.

– Ах, не все ли равно! – отмахнулась от него Эстергази и сосредоточила свое дамское внимание на Лабрюйере.

Этот господин появился в труппе очень для нее кстати. С Кокшаровым у актрисы уже был роман – теперь Кокшаров недосягаем. Со Стрельским роман был – до венца дело не дошло. С Водолевым – был, с Лиодоровым – был... Славский с первого взгляда увлекся Генриэттой Полидоро. Не крошку же Николева обольщать! Это даже для опытной актрисы было бы чересчур.

Оставался Енисеев – но этот внушал Эстергази некий страх. Ей все казалось, что он сейчас лениво и небрежно скажет:

– Пошла на кухню, дура Парашка, и чтоб я тебя в гостиной больше не видел!

Он и точно был высокомерен, актеры уже применили к нему выражение «задирает нос», но только Эстергази бабьим нюхом чуяла, что в Енисееве кроется какая-то опасность. Был у нее в молодые годы любовник, который крепко ее поколачивал и деньги отбирал, – так новичок чем-то смахивал на того любовника... манерой, что ли, осанкой, повадкой?..

Запасливая Селецкая взяла с собой маленький театральный бинокль, он пошел по рукам. Всем было любопытно взглянуть на всадников – да и не нашлось до начала полетов другого развлечения.

Наконец у сараев началась суeta – стали выкатывать первый «фарман». И тут же к нему устремились шустрые молодые люди – репортеры «Рижских ведомостей», «Рижского вестника», «Рижской мысли», «Дачника Рижского взморья», «Взморья», «Рижского курорта».

Вскоре из сарая вышли пилоты – авиатор Слюсаренко и авиатрисса Зверева. Он был в серых брюках, заправленных в высокие ботинки, в черной куртке поверх свитера с высоким горлом, в кожаном летном шлеме, полностью закрывавшем волосы и уши. Она – в такой же

куртке, явно мужской, в нахлобученной чуть ли не по брови шапке, в широких шароварах из плотного сукна. Лица у авиаторов были каменные – очевидно, репортеры уже успели им надоест. И у обоих – сдвинутые до поры вверх большие автомобильные очки.

– Господа, господа! Освободите место! Ступайте на трибуны! – кричал какой-то голо-систый мужчина. – С трибун вам будет отлично видно!

– Он прав. Этак мы аэроплан вовсе не разглядим, а когда он поднимется вверх – может, что-то и поймем. Лабрюйер, вы лучше всех нас говорите по-немецки, объясните плотнику, чтобы шел за нами на трибуны, – сказал Кокшаров. – Медам, идемте скорее, займем лучшие места.

Но среди дам была нехватка – пропала Танюша.

Терская заволновалась, Лабрюйер и Славский были отправлены на поиски.

– Она, поди, уже на аэроплан залезла, – говорил товарищу, пропихиваясь сквозь толпу, Славский, за год знакомства и совместной работы хорошо узнавший девушку. – Удивительного упрямства девица! Ей бы мальчиком родиться...

– Знавал я таких, – отвечал Лабрюйер. – В определенных кругах весьма котируются. Девица, что может пролезть в оконную форточку на шестом этаже, к примеру... Только моя знакомица блондинкой была, тоненькой маленькой блондинкой со стальными мышцами и железными нервами...

– Тоненькая маленькая блондинка – это, поди, прелестнейшее создание?

– Было бы прелестнейшим, когда бы не промышляло... Сам дурак!..

Это было ответом на возмущение какого-то господина, которому Лабрюйер в толчее наступил на ногу.

Танюшу поймали механики возле того самого «фармана», на котором собиралась лететь госпожа Зверева. Славский был прав – она чуть не вскарабкалась на пилотское сиденье. Была бы в шароварах, как Зверева, – и взобралась бы, но трудно лазить по шатким конструкциям, одной рукой придерживая юбку.

Лабрюйер и Славский, наскоро извинившись, забрали девушку и увели к трибунам. При этом Лабрюйер был вежлив, но непреклонен, а Славский отругал Танюшу, пригрозив, что больше ее с собой на ипподром не возьмут.

– Скорее, скорее! – командовал Кокшаров. – Нужно занять места в центре, чтобы никто не ходил у нас по ногам... да что ж вы копаетесь?!

Но на центр трибуны претендовали многие. Селецкая как-то проскочила вперед и, взбежав по лесенке, быстро пошла боком – занимать места на длинной деревянной скамье. С другой стороны вдоль этой же скамьи, явно претендуя на эти же места, спешил представительный господин. Они едва не столкнулись и посмотрели друг на друга, словно желая отпугнуть конкурента сердитым взглядом.

Терская, наблюдавшая за подругой снизу, видела все – и стремление двоих к одной точке, и этот взгляд, и то, как они застыли – Селецкая и Эрнест фон Сальтерн. Терская знала – такое на сцене не сыграешь, такое только в жизни случается мгновенно и достоверно. На сцене – нужно затянуть паузу и, возможно, даже приоткрыть рот, чтобы последний зритель на галерке увидел и понял: эти двое нашли друг друга, эти двое созданы друг для друга!

Но за Сальтерном шла его сестрица, а за Селецкой – Славский. Долго стоять этак посреди трибуны, таращась друг на друга, мужчина и женщина не могли. Терская видела снизу, как Сальтерн поклонился Селецкой, как указал ей на скамью, предлагая садиться, и сам сразу сел рядом. И тут же оба усталились на аэроплан. Терская прямо-таки ощутила напряжение, превратившее подругу и богатого домовладельца в две каменные фигуры.

Актриса не была по натуре чересчур завистлива – всего должно быть в меру. Она даже усмехнулась: вот ведь повезло Селецкой; ну, значит, это – ее добыча, и воевать не имеет смысла. Более того – надо помочь. Богатый поклонник обычно развлекает и подруг своей

пассии; вот и наметились поездки в Ригу, в рестораны или хоть кондитерские! А там наверняка ждут новые многообещающие кавалеры, вряд ли приятели богача – нищие с паперти.

Так что, оценив обстановку, Терская взяла на себя труд наладить знакомство. Она, чуть ли не колотя зонтиком по головам, пробилась к Селецкой, оттеснила от нее Славского, заговорила громко и весело, спросила Сальтерна, который час. Он ответил по-русски, очень любезно, хотя кратко – видимо, плохо знал язык.

Лабрюйер смотрел на эти маневры, хмурясь и даже сопя. Селецкая ему нравилась. К тому же он был невысок ростом, и это его огорчало, сужая круг возможных избранниц; нельзя мужчине, чтобы дама была выше, даже когда она на каблучках! Селецкая же и по росту соответствовала. В ней было удивительное для провинциальной актрисы изящество – как будто ее растили в графском доме. За пределами сцены она говорила негромко, не одобряла вольных шуток, и голосок у нее был дивный, прямо-таки завораживающий. В беседе, особенно светской, это был именно голосок, но когда Селецкая выходила на сцену – он превращался в полнозвучный голос, особенно если приходилось петь романсы.

Лариса Эстергази была на полголовы повыше Лабрюйера, но совершенно не придавала значения таким мелочам.

– Лабрюйер, глядите – это кто такой? – спросила она.

Механики отогнали от «фармана» всех зевак, но один мужчина, одетый не хуже Сальтерна, остался и о чем-то говорил со Зверевой. Он-то и заинтересовал артистку.

– Это же Калеп, – отвечал, узнав мужчину, Лабрюйер. – Человек известный. В Риге есть завод, изготавливающий моторы, и для аэропланов также, называется – «Мотор», ну так он – совладелец. Очень полетами увлекается. Сказывали, и сам в воздух поднимался, но давно, года два назад, сейчас, я так думаю, здоровье не позволяет.

– Немец?

В вопросе была хитрая подкладка. Если немец – вряд ли хорошо говорит по-русски, а Эстергази делала ставку на свою разговорчивость, языков же почти не знала, кроме венгерского, о чем всем и сообщала первым делом; но поди проверь, по-венгерски ли она лопочет или сама свой особенный язык сочинила.

– Эстляндец. Говорят, в молодости конюшни на почтовой станции где-то в Эстляндии чистил, на медные деньги учился, но вот как в люди выбился. Инженер! – уважительно сказал Лабрюйер.

– Разгоняется, разгоняется! Сейчас взлетит! – закричали на трибуне.

Глава четвертая

Погода была безветренная – самая подходящая для неустойчивых «фарманов», не имеющих закрытой кабины. Сильный порыв ветра мог запросто перевернуть аэроплан.

Лидия, в последний раз поправив огромные очки, обвела взглядом летное поле. Все на местах, и сигнальщики в модных клетчатых кепках, и механики, и Калеп на своем автомобиле, собственноручно отремонтированном, и тот малопрятный господин с огромным медным рупором, неременной принадлежностью морского судна, и Владимир... Пора?

– Внимание! – по-немецки завопил в рупор господин. – Госпожа Зверева совершит полет на высоте в сто метров! Почтенная публика увидит также «воль планэ» – свободное планирование! А также «аттерисаж» – мастерский спуск на землю! С изумительной точностью! Прямо в круг диаметром ровно пятьдесят метров! Дирекция убедительно просит не пугаться шума моторов. В случае аварии уважаемую публику просят оставаться на своих местах!..

– Чтоб тебе... – пробормотала Лидия. Она прекрасно поняла про аварию. После апрельского падения она запрещала себе думать о неприятном – и постановила, что, приземлившись, научит господина с рупором уму-разуму.

Владимир помахал ей. Это означало: ну, с Богом, милая...

– Держите хвост! – крикнула Лидия механикам и сторожам. – Держите, ну!..

Мотор набирал обороты. Десяток крепких мужчин упирались каблуками в дерн, удерживая аэроплан.

– Ну, Господи благослови! Отпускайте!

Маленький белокрылый «фарман», рванувшись вперед, побежал по вытоптанной траве, оторвался от земли, стал набирать высоту. Внизу за ним сразу устремился автомобиль Калепа – и обогнал!

– Летит, летит! – восторженно вопили на трибуне. Некоторые в полном безумии срывали с себя шляпы и котелки, бросали в воздух. Лидия усмехнулась – что еще будет, когда она обгонит Калепа и начнет заходить на первую восьмерку?

Она знала, что снизу выглядит жутковато – сидит на самом краю, прямо на обтянутом льняным перкалем крыле, в каком-то, прости господи, кожаном лукошке, свесив ноги, того гляди сверзится. Под ногами были педали руля поворота, на которые публика обычно не обращала внимания. Правая рука – на ручке управления рулем высоты. Левая держится за стойку между крыльями. Привязные ремни – к черту... А взгляд сквозь очки – вперед и ввысь!

Занятное действие производил воздух на авиаторов – даже безголосые принимались петь. Ощувив, что аэроплан покорен, слушается и готов выполнять приказы, Лидия вздохнула с облегчением. Теперь можно было и запеть.

Это был не простой романс – он связывал с суженым, который привел ее в небо, с Володей – самым смелым, самым надежным... они не могли в жизни разминуться, это было бы слишком жестоко!..

– День ли царит, тишина ли ночная, – запела Лидия, – в снах ли тревожных, в житейской борьбе, всюду со мной, мою жизнь наполняя, дума все та же, одна, роковая, – все о тебе!

Романс не долетал до земли, но Володя знал, что она в небе поет, и знал также, какие слова выкрикивает наперекор встречному ветру. Старый, отчаянный, страстный романс Чайковского – мог ли композитор угадать, что он взмлет в утреннее майское небо?

Петь он не умел – но шептал, уверенный, что у нее на устах – те же слова:

– С нею не страшен мне призрак былого, сердце воспрянуло, снова любя! Вера, мечты, вдохновенное слово, все, что в душе дорогого, святого, – все от тебя!..

Их соединила незримая струна этого романса – жениха, что стоит на земле, запрокинув голову, и невесту, парящую над ним в небесах. И они знали это, и были счастливы.

Аэроплан обогнал автомобиль Калепы и вырвался за пределы ипподрома. Лидия посмотрела вниз и увидела отлетающие назад облака цветущей сирени, дорогу, кавалькаду всадников. Они, услышав стрекотание мотора, придержали лошадей и подняли головы. Один погрозил авиатриссе кулаком. Другой, что вел кавалькаду, запрокинулся в седле.

Лидия заметила его недели две назад. Авиаторы и наездники если и здоровались – то сквозь зубы, а с этим красавцем она и словом не перемолвилась. Но знала, что его взгляд сопровождает ее, когда она с механиками выкатывает аэроплан, когда идет по траве, беседуя с Калепом, когда за углом сарая торопливо целуется с Володей. Всадник на гнедом коне, который один стоил дороже всех «фарманов» в сараях и ангаре, очень часто оказывался в таком месте, откуда многое мог видеть. Но он даже не пытался познакомиться, и это немножко раздражало. Все пытаются, а этот – нет...

Лошади, еще не привыкшие к небесному чуду, беспокоились.

– Сейчас, сейчас... – пообещала им Лидия. Предстоял трюк – планирование с выключенным мотором. То самое «воль планэ».

На трибунах в это время слушали комментарии из медного рупора и проникались сознанием, что живут не просто во времени, а в некоем историческом миге.

Терская, Танюша и Эстергази передавали друг дружке бинокль Селецкой, а сама она глядела в окуляры огромного морского бинокля, которым запасся Сальтерн и любезно предложил соседке. Кокшаров на дурном немецком напоминал плотнику Кляве, что нужно рисовать летательную машину. Клява соглашался, но ничего не делал. Лабрюйер пытался одним глазом следить за аэропланом в небе, а другим – за Селецкой.

Вдруг вся тысяча зрителей на трибуне разом ахнула.

Видно, там, наверху, ветер все же был. Он подхватил парящий «фарман» и, едва не перевернув его, понес его на трибуну. Аэроплан резко снижался, и явственно было видно, как авиатрисса чуть ли не панически дергает ручку управления рулем высоты. Это было воистину страшно – женщины завизжали, кто-то чуть не по головам поскакал вниз.

Несколько секунд все жили в ожидании смерти. Но застрекотал мотор, аэроплан выровнялся, устремился вверх, сделал круг, пошел на восьмерку. Она была выполнена прекрасно – верхние флажки мачт как раз были в центре кругов, составляющих воображаемую восьмерку. Зрители бурно зааплодировали. Тут только Селецкая обнаружила, что Сальтерн ее обнимает, прижимает к себе, словно готовясь всем телом прикрыть от падающих обломков летательного аппарата.

Актриса отстранилась, причем взор ее говорил: простите, люди смотрят, нельзя же так...

Больше ужасов не было – кроме, разве что, выкриков через рупор. Аэроплан вскоре приземлился в круг, его удержали, как водится, за хвост, и многие из публики побежали на поле – разглядеть вблизи бесстрашную женщину.

Женщина же искала взглядом своего друга – потом будет все, и поцелуи, и объятия, но сейчас необходим только обмен взглядами – для полного и безупречного счастья.

Актрисы остались на трибуне.

– Ну, что, медам, вы довольны? – громко спросил Кокшаров. – Пора собираться. После обеда у нас репетиция.

Таким простым способом он доложил Сальтерну, что компания-то не простая, люди искусства, артисты!

Терская, как всякая актриса, была порой завистлива, порой восторженно добра, порой сварлива, порой жеманна. Но с Селецкой у нее сложилась дружба – вынужденная дружба, чтобы держать под контролем все возможные маневры относительно Кокшарова. Поэтому

Терская пришла на помощь подруге, чье смущение было не талантливо сыгранным, а, увы, натуральным.

– Идем, голубушка, – сказала она. – Нам еще костюмы примерять и подгонять. Ведь завтра вечером премьера. Маркус говорил – все билеты проданы, вся лучшая публика будет у нас в Бильдерингсхофе. Помяни мое слово – все эти господа, которые сегодня смотрели полет, явятся к нам в театр. Я узнала одну пару из Эдинбурга, а господин с детьми – вон тот, видишь? – из Майоренхофа.

Господин с двумя мальчиками, десяти и двенадцати лет, одетыми в матроски, был вытасцен на летное поле за руки и увлечен к аэроплану. Сопротивляться ошалевшим от счастья мальчишкам было бесполезно.

– Идем, медам, идем! – торопил Кокшаров. – На поезд опоздаем!

– Если вы на поезд опоздаете, я могу в Бильдерингсхоф на своем авто отвезти, – сказал Сальтерн, но не Кокшарову, а Селецкой. – Я имею большое авто.

– Это было бы изумительно! – воскликнула Терская, не дав Кокшарову и рта разинуть.

И тут в бой вступила тяжелая артиллерия – госпожа Эстергази.

– Ах, как я мечтаю проехать по взморью в шикарном авто!

Кокшаров просто наслаждался сценкой: разыгравшиеся актрисы вовсю заманивали рижского богача, а его сестрица смотрела на это очень неодобрительно. Вдруг он вспомнил, зачем затеял всю эту экспедицию, огляделся по сторонам – Клявы не было. Тогда он отобрал у дам бинокль и стал искать плотника.

Пропажа нашлась на заборе, наскоро возведенном у сараев. Клява был занят делом. Он достал наконец из-за пазухи свой сверток. Там оказались нарезанные листы плотной оберточной бумаги и толстые карандаши, обязательное орудие плотницкого ремесла. Глядя сверху на окруженный публикой аэроплан, плотник зарисовывал обтянутые льняным перекатом крылья из сосновых реек.

– А где Танюшка? – вдруг спросила Терская.

Девушка под шумок сбежала.

Селецкая встала и поднесла к глазам бинокль Сальтерна.

– Да вот же она, вон там – ее шляпка! Она, кажется, со Зверевой разговаривает...

Это было чистой правдой – Танюша, рискуя попасть под «фарман», пробралась-таки к авиатриссе.

– Госпожа Зверева! Лидия Виссарионовна! – закричала она. – Вы просто чудо! Я вами восхищаюсь!

Летчица, уже вставшая с сиденья, повернулась к ней.

– Не надо, я сама, – строго сказала Зверева мужчинам, протягивавшим к ней руки. И, соскочив наземь, поморщилась – не все еще зажило после апрельской катастрофы.

Ловкая Танюша оказалась рядом с ней и смотрела на нее огромными и безумными глазами.

– Госпожа Зверева, я тоже хочу летать! Я страшно, страстно хочу летать! Как вы! Честное слово! – восклицала она. – Вы мой идеал!

– погоди, Володя, – строго сказала Зверева невысокому молодому человеку в летной куртке, обнявшему ее за плечи; Танюша не сразу узнала в нем Слюсаренко. Но строгость была лишь в голосе – не во взгляде, и юная артистка прекрасно это поняла.

Авиатрисса улыбнулась ей.

– Милая барышня, теперь многие девушки захотят подняться в небо. Моя цель – дать им такую возможность. Но этому надо учиться, учиться всерьез. Я думаю, нам удастся открыть в Риге летную школу, дирекция завода «Мотор» готова нас поддержать...

– Я буду первой вашей ученицей! – тут же выпалила Танюша.

– Если вам позволят ваши родители, барышня, – охладил ее восторг Слюсаренко. – Вы ведь живете в семье?

– Да...

– Мы не хотим, чтобы на аэродром прибегали возмущенные родственники и требовали от нас отчета, – продолжал Слюсаренко. – Если девица или дама самостоятельна, не испытывает финансовых затруднений и никому не обязана подчиняться – то милости просим.

– Я могу оплатить обучение, у меня есть свои средства! – это было не совсем враньем, Танюша имела в виду подаренные матерью дорогие вещицы – часики, кольца, медальоны, сережки.

– В этом никто не сомневается, моя милая, – Зверева опять улыбнулась. – Но вы еще очень молоды. Если ваши родители желают для вас такого ненадежного будущего – приходите вместе с ними, когда будет объявлено о наборе в школу...

– Вы замечательная! И я буду учиться у вас!

– Не сомневаюсь!

Зверева обняла Танюшу и поцеловала в щеку.

У юной актрисы уже были скромные девичьи приключения, и среди них видное место занимал ночной поцелуй после премьеры со Славским. Правда, Славский был не совсем трезв, но это обстоятельство Танюша игнорировала – поцелуй-то был самый настоящий, не то что со студентом Пуркевичем в Ростове или этим чудаком Валечкой в Саратове. Но все померкло, когда авиатрисса ласково прикоснулась губами к щеке девушки.

Теперь стало ясно: небо, небо и только небо!

– Да пропустите же! – услышала она сердитый голос, повернулась – и увидела прямо перед собой охапку роз изумительной величины. Это была целая клумба. Розы торчали из огромной корзины, а корзину держал, прижимая к животу, мужчина, чье лицо сквозь цветы было неразличимо.

Но он опустил свою клумбу к ногам Зверевой, и стало видно – это румяный крепыш с совершенно круглой физиономией, с круглыми черными глазами, способными выразить неземной восторг, со смешными усиками и с безупречной белозубой улыбкой. Его черный котелок сбился набекрень, и физиономия была так забавна, что сразу вызвала у всех симпатию.

– Я преклоняюсь перед вами, мадам Зверева, – сказал даритель корзины. – Я хочу сделать некоторый презент – не вам лично, а вашей будущей школе! Я сниму для вас помещения в Зассенхофе и буду оплачивать аренду в течение года! Это же не бриллианты, не золотой сервиз – такой подарок вы можете принять?

– Мне, право, неловко, – ответила авиатрисса. – Ведь учеников будет много, помещения потребуются большие...

– Но все очень просто – возьмите меня в ученики, а аренда будет моей платой за уроки, – весело сказал крепыш. – Разрешите представиться – Федор Иванович Таубе, адвокат из Ревеля. Нарочно ради вас приехал в этот убогий лифляндский городишко.

И мигом у него в руках появились визитные карточки. Он вручил их Зверевой, Слюсаренко, Калепу, механикам, одна досталась и Танюше.

Девушка сообразила – этот человек может ей пригодиться, когда придется воевать с госпожой Терской за право учиться на летчицу. И сунула визитную карточку в карман бледно-лилового жакета.

– Помещения могу предоставить и я. Как совладелец «Мотора», могу распоряжаться зданием заводской конторы... – начал было Калеп.

– Но это, насколько понимаю, должны быть учебные классы с таблицами на стенах и с доской, как в гимназии, – перебил его Таубе. – А в самом деле, есть ведь в Зассенхофе хоть какая-то школа?

Танюша не сводила глаз со Зверевой. Авиатрисса и точно была ее идеалом женщины – молодая, сильная, отважная, с огромными выразительными глазами, с пышными темными волосами – когда Зверева сняла шапку, на плечи рухнул целый водопад, а наземь посыпались бесполезные шпильки. Мужчины не заметили – а Танюша заметила, что Зверева, уже почти не прислушиваясь к рассуждениям о школе, смотрит поверх голов вдаль.

Девушка проследила взгляд и застыла, пораженная красотой.

Ибо что может быть прекраснее стройного всадника на высоком чистокровном коне?

Наездник, на которого обратили внимание артисты, подъехал совсем близко к аэроплану. Его посадка в седле была безупречна, жокейская шапочка и короткий сюртук ему шли изумительно. Сверху вниз он глядел на авиаторов – и на растрепанную Лидию. Потом он незаметным движением пальцев и коленей заставил гнедого коня сделать вольт буквально на пятачке и поехал прочь. Солнце светило ему в лицо, а для тех, кто наблюдал за ним, он превратился в силуэт, окаймленный сиянием.

Похоже, он нарочно вернулся, подгадав к приземлению аэроплана, чтобы блеснуть гордой мужской красотой – и высокомерно исчезнуть.

Всадник удалялся – а Танюша все еще видела его лицо, тонкое, породистое, прекрасно вылепленное. И мысль у нее возникла самая далекая от авиации – что надо бы в дневничке, который ведет всякая незамужняя девица, дать красавцу имя Кентавр. Славский там был «дон Педро», Алеша Николев – «Керубино», Лиодоров, имевший наглость сказать два комплимента, – «Панталоне» (каким-то образом тощие ноги артиста, создававшие иллюзию, будто их в брюках вовсе нет, увязались у Танюши с персонажем итальянской комедии). Почти забытый студент Пуркевич был «Бертран» – потому что Танюша влюбилась в пьесу Ростана «Принцесса Греза», где друг главного героя как раз и был отважный, но неосмотрительный рыцарь Бертран. Гусарский ротмистр Данилов, с которым Танюша всего раз танцевала, был «Партизан», и ему посвящалась большая часть дневничка...

В том, что встречи с Кентавром еще будут, девушка не сомневалась. Ведь если удастся уговорить госпожу Терскую и записаться в летнюю школу, то поездки на ипподром будут постоянными.

Да, оставалось только уговорить Терскую.

Судя по тому, с какими лицами подошли к Танюше Енисеев и Славский, чтобы увести ее от аэроплана, это будет нелегкой задачей...

Глава пятая

Поездки на авто в Бильдерингсхоф не получилось – во-первых, пассажиров оказалось многовато, а во-вторых, Сальтерну пришлось бы как-то отправлять в Ригу сестрицу, причем – одну. Судя по ее лицу, такое обхождение вышло бы любимому братцу боком.

Но бойкие актрисы взяли с домовладельца слово, что он прибудет на премьеру – конечно, вдвоем с сестрицей. Хотя Кокшаров и утверждал, что билеты на «Прекрасную Елену» все раскуплены, но сам прекрасно знал: есть во втором и в третьем ряду нарочно оставленные места.

Премьера прошла изумительно.

Правда, плотник Клява забивал последние гвозди в крылатую машину на велосипедных колесах, когда зрителей уже стали пускать в концертный зал. Опробовать «аэроплан» не было никакой возможности, но плотник не подкачал – сходство с «фарманом» имелось, и когда машину на веревке вытянули на сцену, аплодисменты были громчайшие и длительные. Генриэтта Полидоро даже язвила потом, что самой госпоже Терской так не аплодировали, как фанерному драндулету. Енисеев был прав – похищение Елены на аэроплане достойно завершило оперетту, а репортеры потом особо фотографировали творение Клявы и Терскую со Славским на нем – в разных позах, и скромных, и даже эротических.

Кокшаров заранее заказал цветы для актрис – пять корзин, четыре – почти одинаковых, пятую – для своей примадонны. Но и публика не поскупилась. Когда актрисы выходили на поклон, служители выносили все новые и новые корзины, из некоторых торчали головки шампанских бутылок.

Успех решили отметить в ресторане.

Маркус сидел в зале рядом с Сальтерном и Региной фон Апфельблум. Он уже знал, что у домовладельца с Селецкой затевается роман. Это было, по его мнению, замечательно – без хорошей сплетни не бывает театральных побед. Он и позвал Сальтерна с сестрицей присоединиться к скромному актерскому празднику.

В мужской гримборной начали праздновать аккуратно перед началом финальной сцены, и на похищение Елены цари Эллады прибыли очень веселые, с блестящими глазами и не совсем ровной поступью. Но все, что требовалось, спели превосходно и вовремя подхватили падающего в обморок при виде отползающего аэроплана царя Менелая.

– Что я говорил, а? Что я говорил, господа?! – восклицал Стрельский. – А главное, вышло дешево и сердито!

– Как же, дешево! Одни сандалии нашей красавицы во что обошлись! – возразил Лиодоров-Ахилл. Действительно, обувь Терской, которая непременно желала показывать ножки, заказали лучшему московскому театральному сапожнику, и он, понимая вкусы заказчицы, насажал на ремешки сандалий дешевых стразов.

– А на нас с вами зато сплошная экономия! По две простыни на брата – вот и весь расход!

Стрельский был прав – хитоны и хламиды древнегреческих царей действительно смастерили из простынь, нарисовав на них по краям древнегреческие же узоры.

– Поторопитесь, господа, – сказал Енисеев. Он уже стоял в обычном мужском исподнем, в голубых кальсонах и шелковых носках на новомодных подвязках. Оставалось надеть рубашку с крахмальным воротничком, брюки, белый жилет и легкомысленный пиджачок.

Лабрюйер переодевался молча. Премьера его ошарашила. Во время репетиций все было как-то иначе. Да еще Селецкая дивно преобразилась. Она, в коротком кудрявом вороном паричке, в какой-то подпоясанной рубахе с широченными рукавами, скрывавшей ее грудь, была уже не очаровательной женщиной, а насмешливым мальчишкой Орестом, кото-

рый убежден: все в мире создано, чтобы его развеселить. Правда, сандалии Селецкой, в которых она плясала с гетерами Леоной и Парфенис, высоко задирая перевитые ремешками ноги, были совершенно дамскими, и даже на каблучках, чтобы прибавить Оресту роста.

Это был первый спектакль в жизни Лабрюйера – всякое в ней случалось, но выхода на сцену в размалеванной простыне еще не бывало. И он малость рехнулся от новых ощущений. Да и от близости полуобнаженной женщины, которая ему очень нравилась, – тоже.

Он выскочил первый – и его тут же призвали на помощь. Нужно было составить корзины в бричку ормана, чтобы отвезти домой.

– Хотела бы я знать, кто до этого додумался, – сказала Генриэтта Полидоро. – С одной стороны, корзина должна быть корзиной роз, или ландышей, или хоть пармских фиалок. А с другой – даже забавно...

– А на мой взгляд, очаровательно, – возразила Селецкая. – Во всяком случае, оригинально.

Спор возник из-за большой корзины тепличных тюльпанов – какого-то редкого сорта, с бахромчатыми лепестками. Обычно к таким подношениям цепляют хоть визитную карточку, но неизвестный поклонник Терской предпочел остаться анонимом.

– А хорошо бы на дне корзины отыскать ну хоть бриллиантовые сережки, – поделилась сокровенной мечтой Эстергази. Серьги в ее ушах уж точно не были бриллиантовые, иначе актрису сопровождала бы рота переодетых полицейских с револьверами наготове.

– Госпожа Эстергази, вот эти цветы, оказывается, для вас, – сказал, подходя с небольшой корзиной, Николев. – Карточку не сразу заметили.

– Ах, – ответила актриса. – Как трогательно!

Корзинка была скромная, но цветы, розочки и ландыши, подобраны и составлены с большим вкусом.

– Посмотри на дне, Лариса, – свысока посоветовала Терская. – Богатые господа любят так пошутить – безделка ценой в полтинник, а завернута в банковский билет на тысячу.

– И посмотрю.

За всю историю антрепризы Кокшарова не было еще такого – Эстергази, пошарив меж розами, достала обтянутую бархатом коробочку, открыла и ахнула уже не с наигрышем, а всерьез.

Там лежали небольшие сережки – в каждой сапфирчик, окруженный мелкими бриллиантами. Если вдуматься – не такие уж дорогие сережки, но изящные – Терская сразу опознала стиль московской фабрики Фаберже.

– Боже мой, Лариса, ты же не сможешь это носить! Это совершенно не в твоём духе! – с сочувствием воскликнула Полидоро. – Ты женщина яркая, роковая, твой стиль – крупные камни, а это – что? Без лупы не разглядеть! Это не твое, милочка, это вовсе не твое...

– Очевидно, мне пора менять стиль, Генриэтточка, – ответила на это Эстергази.

– Однако камушки-то, пожалуй, настоящие, – заметил Маркус.

Эстергази тут же вынула из ушей свои стразы и вдела новые сережки. Сделала она это не из любви к высокому ювелирному искусству, а чтобы позлить Полидоро.

Ресторан заказали в Майоренхофе, и пройти до него от Бильдерингсхофа решили пляжем – мимо опустевших купален и отогнанных в дюны купальных повозок, мимо качелей и каруселей, поставленных для детишек, по плотному сырому песку со следами велосипедных и самокатных шин – вечером здесь резвились велосипедисты и самокатчики, всякое лето составлявшие особые общества со всякими затеями: соревнованиями, призами и балами. Идти было недалеко – чуть больше версты, а берегом залива – так одно удовольствие.

Образовалась процессия – впереди маршировали Енисеев и Стрельский, за ними Терская под руку с Кокшаровым, Полидоро под руку со Славским, Эстергази под руку с Водолеевым. Танюша и Николев устроили игру в салочки, вовлекли в нее Лиодорова и Лабрюй-

ера – когда выпито полтора стакана мадеры, отчего ж и не поиграть в салочки? Маркус и его жена Луиза Карловна благоразумно обхаживали Регину фон Апфельблом – такое знакомство пригодится зимой, когда в богатых домах устраивают музыкальные вечера и приглашают артистов; отчего бы и не услужить дому Сальтернов за разумное вознаграждение?

О самом Сальтерне и Селецкой как-то забыли. И очень удивились, когда зазвенел, затрепетал хрустальный голосок актрисы. Она запела вдруг песенку Ореста – ту, что под занавес, ту, что придавала комической истории о похищении спартанской царицы некий иной оттенок – тревожный и печальный.

– Мы в венки цветы сплетаем, песни поем, песни поем, и в веселье забываем мы обо всем, мы обо всем, – пела Селецкая для одного-единственного слушателя, иные ее мало беспокоили. – Быстро молодость промчится, так давайте же, друзья, счастьем вдоволь насладимся – жизнь ужасно коротка...

И это «ужасно» прозвучало с неимоверно искренней детской обидой. Вот только что носился по сцене мальчик Орест, юный циник и сумасброд, ан глядь – и морщинки уже в уголках глаз, и шейка не первой свежести, обидно до слез и никуда не денешься... все радостное в жизни оказывается ужасно коротким...

Актеры невольно обернулись и обнаружили, что эта пара отстала на добрых три десятка шагов. О чем говорили двое прежде, чем Селецкая запела, – догадаться было нетрудно. А вот как они говорили – всех озадачило. Селецкая знала по-немецки только «битте» и «ауфвидерзейн», а Сальтерн по-русски объяснялся медленно и с трудом.

Как выяснилось, не в языках и наречиях дело...

На следующий день труппа отдыхала – не столько от премьеры, сколько от ресторана «Морская жемчужина». Жемчуга в Рижском заливе отродясь не водилось, но по утрам дачники находили в клочьях тины, выкинутой волнами на берег, маленькие кусочки янтаря. Потом служители купален эту тину убирали граблями, и к тому времени, когда актрисы выбирались на взморье, шансов собственноручно найти сувенирчик у них уже не оставалось. Но человек, назвавший свое заведение «Морской жемчужиной», не прогадал – ресторан получился аристократический и модный.

И покатилась обычная гастрольная жизнь: два вечера в неделю – «Прекрасная Елена», два – сборные концерты, в которых, кроме артистов Кокшарова, участвовали приглашенные из Риги и Варшавы певцы, и еще три – оркестр, исполнявший просто хорошую классическую музыку; эти три вечера были у кокшаровской труппы формально свободными, а на самом деле – артистов звали на богатые эдинбургские дачи, попеть для светского общества.

Сальтерн чуть ли не каждый день наезжал в Бильдерингсхоф, пару раз – с сестрицей, а потом уже без нее. Актрисы посмеивались: мальчик взбунтовался против гувернантки! Но в целом роману Селецкой все покровительствовали – все, кроме Лабрюйера. Актриса ему очень нравилась, он понимал, что нищий артист рижскому домовладельцу – не конкурент, хмурился и дулся. Дело было не в корыстолюбии Валентины – просто всякой женщине хочется красивого романа, чтобы даже и мысли о деньгах не возникало, а Сальтерн этот самый красивый роман ей устроил.

Он возил актрис в своем авто в Кеммерн, на целебные воды, вонючие до изумления. Он присылал цветы – утром, когда актрисы, жившие вместе, в двух комнатах новенькой деревянной дачи, выходили на веранду пить кофе, корзина уже стояла на ступенях. Он еще раз свозил Селецкую вместе с Эстергази на солитюдский ипподром и оттуда – в рижские антикварные лавки, где они выбрали себе старые гравюры с классическим видом на Ригу с левого берега Двины. Ездили также в Дуббельн – там река Курляндская Аа чуть ли не вплотную к железнодорожному полотну подступала, и вдоль берега было множество причалов, где дачники могли брать лодки напрокат. Сальтерн неплохо умел грести и знал, где они могли набрать не только желтых кувшинок, но и белых водяных лилий.

В самом Майоренхофе он водил дам в кинематограф, в огромный зал для катания на роликовых коньках (каталась одна Танюша), в сад Горна – лакомиться мороженым. Только вот в роскошный танцзал артистки редко попадали – почти все вечера у них были заняты.

Мужчины в своей гримуборной, говоря о красивом романе, выражали сомнение в том, что домовладелец женится на актерке. Однако все видели, что ухаживает он по правилам – как если бы имел дело с женщиной своего круга, и это даже удивляло. Женщины же все впали в романтический восторг – актерки, которые перевидали множество неудачных романов, и чужих, и собственных, расцветавших за кулисами и в дорогих ресторанах, умиравших на вокзалах, вдруг разом захотели, чтобы у Селецкой было все, о чем мечтают девочки в пансионах: статный жених, свадебное платье, великолепная фата, венчание с колокольным звоном! Спустить их с небес на землю попытался разве что Маркус, а Кокшаров рукой на эту придурь махнул – пусть бесятся, раз уж оно способствует хорошему исполнению амурных романсов в концертах.

Правда, развивался в труппе еще один роман – загадочный. Некий поклонник повадился присылать Эстергази скромные букеты, приправленные бархатными коробочками, а в коробочках – неплохие драгоценности. Однажды это были золотые дамские часики, отделанные алмазной крошкой и маленькими гранатами, потом – золотая браслетка с рубинами, потом еще – брошь в виде серебряной веточки с листьями, сплошь усыпанными бриллиантами; эта удивительно изящная брошь вызвала общую зависть, и не только тонкостью работы и безупречностью вкуса – бриллиантов в ней насчитали ровно шестьдесят, правда, микроскопических. Савелий Водолеев съязвил, что тайный поклонник из особо утонченной галантности подобрал вещицу, количество камней в которой соответствовало числу лет Эстергази. За такую догадливость он чуть не схлопотал от бывшей своей подруги крепкую оплеуху.

Лабрюйер же, когда Эстергази хвасталась подарками, не ехидничал и не отвечивал комплименты, а как-то загадочно фыркал.

Актриса, к некоторому удивлению товаров, подарками не щеголяла, а прятала их в глубине кофра. В этом была некоторая логика – ее пышные туалеты требовали крупных украшений, а миниатюрные, несмотря на изящество, ей казались чересчур скромными.

Идиллия на рядом стоящих дачах, которые Маркус снял для кокшаровской труппы, завершилась июньским утром. Началось оно для Кокшарова почти привычно – с новости о похождениях двух Аяксов. Эта лихая парочка своими пьяными сумасбродствами порядком развлекала дачников.

Явившийся к нему квартальный надзиратель – немец, разумеется, с классической немецкой фамилией Шульц, – много лет отслужив на штранде и имея дело с русскими дачниками, кое-как осилил язык, но спотыкался и путался в порядке слов.

– Господин Кокшаров, – сказал он. – Господа артисты, что к вашему театру принадлежат, этой ночью ужасно и непристойно неслыханное безобразие учинить имели.

– Что еще, господи?.. – простонал Кокшаров.

– Купальную машину здешнего жителя Акментыня Яна от берега, где его жилище, злоумышленно укатали.

Кокшаров не сразу понял, что купальной машиной квартальный называет обычную на штранде повозку, в которой купальщиков или же купальщиц по широченной отмели везут на глубину. Их приобретали и содержали местные рыбаки, здраво рассудившие, что камбала в сети идет не всегда, а дачник, притащившийся на штранд из какой-то сибирской тьмутаракани, купаться желает всегда – чтоб деньги за дачу не зря были плачены. Купальная машина в сезон делалась кормилицей целого семейства. Войдя в эту крытую повозку, похожую на домик и обыкновенно выкрашенную в какой-либо яркий цвет, купальщики успевают пере-

одеться и к тому моменту, когда их завезут на глубину, взрослому мужчине по пояс, могут быстренько по лестнице спуститься прямо в воду.

Два Аякса нашли в прибрежных дюнах, возле дома рыбака Акментыня, эту самую повозку. По мнению квартального, с ними были девицы безалаберного поведения, и оба Аякса как раз ради них старались. Они впряглись в купальную машину вместо лошади, выкатили ее на пляж, протащили с полверсты, выволокли на мелководе – очевидно, чтобы подшутить над сидевшими в повозке девицами и заставить их прыгать в воду прямо в модных туфельках и чулочках. Потом, по мнению квартального, они чем-то подкопали мокрый песок под колесами, отчего купальная машина увязла, словно в ухабах и колдобинах. И все это приключение пахло штрафом.

– Очень хорошо, герр Шульц, – сказал Кокшаров. Он уже немного успокоился и думал, как извлечь из безобразия пользу. – Повозка еще в воде?

– Бедный Акментынь пытается ее из воды трудолюбиво изъять.

– Не надо! Вот ему рубль, пусть прекратит! А я сейчас же телефонирую в редакцию «Взморья» и «Рижского курорта». Не каждый день на штранде купальные машины угоняют! Пусть приедут репортеры с фотоаппаратами! Пели?

– Весьма громко пели, господин Кокшаров.

– Это хорошо.

Музыка господина Оффенбаха очень хорошо врезалась в память – недаром Стрельский, в юности (коли не врал) игравший Париса в «Прекрасной Елене», практически безупречно запомнил все музыкальные номера и хранил их в голове более тридцати лет. Если дачник, наслушавшись ночных рулад Енисеева и Лабрюйера, невольно примется мурлыкать «Гей-го-го, дочери Зевса, будет выбор мой таков: гей-го-го, дочери Зевса, выбираю я любовь!», то уже недалеко до покупки билетов для себя и своего семейства. А исполняли гуляки не только «Выход царей Эллады», но и все прочее, кроме арии «Любовь-святыня».

Разобравшись с шалостями двух Аяксов и напевая «Мы шествуем величаво, ем величаво, ем величаво...», Кокшаров пошел в беседку. Эта резная беседка стояла в углу двора на возвышении, и оттуда был виден двор соседней дачи, где жили дамы. Кокшарову нравилось завтракать, глядя, как его артистки в самом небрежном виде высказывают на двор и занимаются хозяйством. Обязанности общей горничной выполняла хозяйская дочь Минна, но стирку тонкого белья и кружев ей не доверяли. Да и какая актриса не умеет стирать кружева, мастерски штопать чулки, а при нужде – и прибить к туфлям подметки?

Владелица дачи, где жил Кокшаров, полная и жизнерадостная фрау Бауэр, сама приносила ему в беседку поднос с завтраком и оставалась выпить вместе с постояльцем чашечку кофе. Ей доставляли из ближайшей кондитерской свеженькие пирожные «кремшнитте», и Кокшаров очень полюбил это лакомство. Заранее радуясь парочке нежнейших «кремшнитте» с желтым и ароматным заварным кремом, он вошел в беседку – и «Выход царей Эллады» завершился каким-то нечеловеческим скрипом в кокшаровском горле.

На полу лицом вверх лежала женщина, закутанная в шаль. Рот ее был полуоткрыт, взгляд – неподвижен, лицо – смертельной серости.

– Эй... – без голоса прошептал антрепренер. – Эй, сударыня...

Но он уже понимал, что женщина мертва.

Глава шестая

Вернувшись с ипподрома в Майоренхоф, Танюша получила от Терской суровый нагоняй. При посторонних актриса не хотела скандалить с мнимой племянницей, а наедине – за милую душу! Кончилось тем, что догадливая Терская конфисковала у девушки шкатулку с сокровищами. Это обнаружилось через несколько дней после премьеры «Прекрасной Елены». Девушка не любила побрякушек – хоть золотых, хоть латунных, а всякой блестящей дребеденью для роли Парфенис ее снабдили Эстергази и Полидоро. Поэтому в шкатулку, хранившуюся в глубине кофра, она заглядывала редко.

Были еще две ссоры с Терской, наотрез отказавшейся отдавать сокровища. А на них у девушки была вся надежда. Вторая случилась перед обедом, вспыхнула внезапно, так что Танюша выскочила из столовой и убежала, а Терская осталась принимать соболезнования артистов: ах, как трудно нынче с племянницами...

Танюша в расстроенных чувствах убежала на морской берег и бродила там, строя планы – один другого краше. Она уже до того додумалась, что решила искать себе богатого покровителя – не очень четко представляя, с какими обязанностями это связано. Хотя девушка уже больше года служила в театре и многое в закулисной жизни поняла, но образование она получила в пансионе, откуда и вынесла восторженность с наивностью.

Жить без неба она уже не могла. Она видела, как выписывает восьмерки под облаками маленький и хрупкий «фарман», который ведет необыкновенная женщина. Она вся иззавидовалась, сидя на трибуне с запрокинутой головой. И она в мечтах уже сама сжимала штурвал ручками, заключенными в летные перчатки из грубой кожи...

– Мадмуазель! – окликнули Танюшу.

Это был Николев, также блуждавший по пляжу. Но он не мечтами был занят, а разглядыванием дам. На господ, совершавших моцион быстрым шагом или рекомендованные врачами из «Мариенбада» целительные пробежки, он, понятно, внимания не обращал.

Время было «общее» – если до десяти утра пляж занимали мужчины, имевшие право купаться в чем мать родила, если с десяти до часа мужчин на пляж вообще не пускали, поскольку там отдыхали женщины и дети, то после часа, с момента, когда над мостками и купальнями взвьются белые флажки, гулять и купаться могли все желающие – но непременно в соответствующих костюмах. За порядком следили городовые, расхаживавшие вдоль кромки воды в белых кителях. Николев по молодости лет высматривал в сотне шагов от берега, за мелководьем, дам, поднимающихся из воды в купальные повозки. Мокрые саржевые костюмчики с короткими рукавами и по колено облепляли их весьма соблазнительно.

– Алеша! – воскликнула в ответ Танюша. Она была рада встрече с приятелем – уж он-то понимал, как тяжело свободолюбивой душе под тираническим и деспотическим гнетом тетки.

– Вы нагуливаете себе аппетит перед обедом? – спросил Николев.

– Ах, какой может быть аппетит?! У меня все рухнуло, все пропало...

Танюша рассказала о своей беде.

– И вот я – без средств, без возможности учиться! И должна после обеда опять репетировать эту проклятую Парфенис, вешаться на шею противному Стрельскому и целоваться с Селецкой! Отвратительная роль! И отвратительный танец! Просто изумительная пошлость!

Поставивший пляску двух гетер, Селецкой и Стрельского Кокшаров именно такого комплимента и добивался.

– Погодите, Тамарочка, – Николев даже не знал, каково настоящее имя юной артистки. – Погодите! Не может быть, чтобы не нашлось выхода из этого дрянного положения!

– А какой выход? Разве что я клад найду где-нибудь на штранде!

– Но и тогда госпожа Терская помешает вам записаться в летную школу!

Тут Танюшу осенило.

Мысль была безумная – но дело того стоило.

– Послушайте, Алеша, вы бы хотели мне помочь?

– Разумеется! И вы еще спрашиваете! Я не понимаю, правда, как можно не любить театра до такой степени. Но если вы действительно хотите стать авиатриссой...

– Алешенька, хочу страстно! Вы же видите – я сильная, такая же, как госпожа Зверева, я ловкая, я часами могу ездить на велосипеде, я умею лазить по деревьям, я прекрасно плаваю! Я ничего не боюсь! У меня есть все, чтобы стать авиатриссой! Вы не думайте, я люблю театр, но мечтаю-то я об аэропланах! Представляете – госпожа Зверева стала первой авиатриссой, но я-то могу стать первой, кто прилетит из Риги в Петербург, первой, кто перелетит Балтийское море! Представляете, сколько у меня впереди? А я должна изображать пьяную гетеру Парфенис и размахивать кружевным зонтиком! Алеша, я когда-нибудь вернусь в театр, я сыграю Офелию, принцессу Мелиснду и гусар-девицу! Мы даже вместе играть будем, вы – Гамлета, я – Офелию... Но сейчас я хочу летать!

Если бы госпожа Терская слышала этот монолог, то от души бы порадовалась: девочка вырастает в настоящую актрису. Танюша говорила правду – ну, не всю, конечно, Танюша преувеличивала – но самую малость, Танюша была чуть более взволнована, чем на самом деле. И про Гамлета она очень кстати ввернула – какой помешавшийся на театре гимназист не бредит этой ролью?

Более того – девушка сумела внушить свой страстный энтузиазм слушателю, и ему уже казалось, что смыслом жизни могут быть полеты и только полеты. Опытный Стрельский, наслушавшихся за чуть ли не полвека театральной карьеры всяких дамских речей, – и тот бы в первые мгновения увлекся пылким порывом Танюши. Правда, минуто спустя Стрельский уже смог бы разложить монолог на составные элементы и даже найти ошибки в его построении. Ну так то – старый актер актерич, на которого огненные взоры и трепет дыхания уже почти не действовали. А Танюша пустила в ход все соблазны, которым на свою голову обучила ее Терская.

– Но как же вам помочь? – спросил вконец обалдевший от пылкомо монолога и страстного взгляда Николев.

– Есть способ помочь мне вырваться на свободу, чтобы она уже не могла мной командовать!

Во всей труппе, кажется, только вчерашний гимназист Николев всерьез считал Терскую теткой Танюши. Прочие задавали иные вопросы: кто истинный отец девушки, помогает ли деньгами, даст ли хоть какое приданое. Сама Танюша узнала правду от Эстергази – театральная матрона иногда утешалась мадерой и даже простой водкой, а утешившись, делалась некстати разговорчива. Поэтому Танюша признавала власть Терской над собой, но, поскольку Терская ее не растила, не нячила, эта власть была номинальной, и повиновение матери, как полагается обычной дочери, все-таки было девушке чуждо. Тем более когда речь шла о деле серьезном – об аэропланах.

И более того – речь шла об истинной славе.

Танюша была-таки честолюбива. Она скоро сообразила, что быть примадонной кокшаровской труппы – невелик почет, что бы из себя ни корчили Терская с Селецкой. Блистать в столице им не дано – и Танюше тоже, если она собирается всю жизнь состоять при Кокшарове. А полеты – это всемирная известность! Это – фотографии во всех газетах! И уж во всяком случае летать Танюша будет не в таких страшных шароварах, как у Зверевой, и не в таких грубых ботинках. В газетах публикуют фотографии первой в мире авиатриссы –

баронессы де Ларош, так у нее костюм очень даже изящный, по картинке цвета не понять, но все репортеры пишут – лиловый...

– Что это за способ? – спросил Николев, глядя на девушку с неизъяснимой преданностью.

– Если вы не побоитесь...

– Ради вас!..

Он не любил Танюшу – он только собирался полюбить. Все женщины труппы в его глазах были прекрасны – и роскошная Терская, и изящная Селецкая, и загадочная Генриэтта Полидоро. Эстергази – и та имела особую прелесть, которую Енисеев как-то назвал варварской; и что же? Эта прелесть тоже могла глядеться соблазнительной. Танюша была ближе прочих по возрасту и отношению к жизни. Алеша тоже любил спорт, вот только велосипеда с собой не привез – он был наслышан о прекрасных рижских велосипедах фабрики Лейтнера и собирался на днях сделать эту важную покупку. Он, как и Танюша, был без ума от «Принцессы Грезы», мечтал сыграть роль Бертрана и даже шоколад, названный в честь славной ростановской пьесы, покупал принципиально, хотя от других сортов, с иными названиями, этот совершенно не отличался.

– Ради меня, да, – сказала Танюша, – и я смогла бы оценить ваш благородный поступок, если бы...

– Если бы – что?..

– Если бы вы его совершили!

– Так я же готов!

– Правда?

– Правда!

– И ни разу не пожалеете?..

– Нет, ни разу!

Но она, меняя главный вопрос то так, то этак, добивалась от него этих «да!», «правда!», «конечно!» еще чуть ли не полчаса.

Отродясь у Алешеньки Николева не случалось таких взрослых разговоров с дамами. Он, идя с Танюшей куда-то в сторону Дуббельна, а может, уже и миновав Дуббельн, уже приближаясь чуть ли не к Ассерну, напрочь забыл, что с этой самой девицей в перерывах между репетициями «Елены Прекрасной» лазил через забор, чтобы тайком от взрослых взять у уличного сбитенщика по стакану горячего, сладкого и пряного до такой степени, что проди-рал не хуже водки, напитка. Про обед он тоже благополучно забыл.

Во всяком случае, дачники пропали, пляж стал пустынным, здания купален сменились уже торчащими из-за дюн камышовыми крышами рыбацких домов, а на самих дюнах сохли на ветру распяленные на кольях сети и лежали на берегу длинные лодки. Пахло дымом – при каждом хуторе имелась обязательная коптильня, и как раз началось время ловли камбалы.

– Госпожа Зверева стала самостоятельной, когда в первый раз вышла замуж, – сказала наконец Танюша. – Родители уже не могли ею командовать, а супруг, говорят, наоборот, одобрял ее увлечение. И всякая девушка, выйдя замуж, уже не должна слушаться родителей.

– Это верно, – согласился Николев. – Нам, мужчинам, легче – если мы покидаем дом, наша репутация не портится, а вот если девушка убежит...

Он сам как раз и сбежал из дому ради всемирной славы.

– Да, вот именно! – согласилась Танюша. – Вы все понимаете! А мне и бежать-то невозможно. Ведь все, что мне нужно, летное поле, аэропланы и даже школа, – все это в Зассенхофе. А там она, если я убегу, сразу меня найдет...

– Вам надо было сохранять свою страсть в тайне, – поучительно сказал Николев.

– А если скрыть невозможно? – и Танюша вновь заговорила с прежней пылкостью о небе, о «фарманах», о полете через Балтику и о том, как она, паря над волнами, будет петь и смеяться.

– Но что, что я должен сделать для вас?!

Слово «должен» Танюше понравилось.

– Как? Вы все еще не догадались?

– Нет...

– Но ведь у меня только один способ вырваться на свободу, чтобы поступить в летную школу... Только один, понимаете?

– Отчего вы не хотите прямо назвать его?

– Мне стыдно...

И ему пришлось чуть ли не на коленях умолять, чтобы она шепотом произнесла:

– Это законный брак...

Сперва Николев пришел в полнейшее смятение. Законный брак был для него событием, столь же отдаленным во времени, как собственные похороны.

– Тamarочка... – прошептал он.

– Алеша, я знала, что вы мне истинный друг! Милый, дорогой, вы меня спасете из этого ада!

Назвать адом Танюшину жизнь под материнским присмотром мог бы только круглый дурак: Терская почти не сковывала дочкиной свободы, не жалела денег на ее наряды, даже велосипед купила по первой просьбе. Но у Николева от удивительной беседы в голове помутилось, и он вдруг понял, что девушка, которую лишили возможности сверзиться с пятидесятиметровой высоты и сломать себе шею, воистину ощущает себя в аду.

– Да, Тamarочка, я спасу вас! – сказав это, Николев ощутил бешеный прилив гордости от сознания своего благородства. Опять же, и девушка была прехорошенькая.

– Это нужно будет свершить тайно, глубокой ночью!

– Да, конечно!

Николева осенило – у него появилась невеста, настоящая невеста, и теперь-то уж можно ее поцеловать. На пляже никого, кроме рыбацких псов, не было, он еще на всякий случай огляделся и быстро чмокнул Танюшу в щеку. И она его тоже чмокнула – предвкушая, как изобразит это смехотворное событие в своем дневнике.

Потом они стали выбирать церковь для своего венчания.

Православный храм в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы был построен для нужд знатных дачников неподалеку от Майоренхофа, в Эдинбурге. Туда актрисы уже ходили, заказали молебен об успешных гастролях. Церковь была красивейшая, хоть и деревянная, украшена тончайшей резьбой, с высокими шатрами, с позолоченными главами. Какая девушка отказалась бы венчаться в столь милом храме? Но Танюша рассудила так – это очень хорошее место, и настоятелю храма не захочется лишних неприятностей на свою голову, если откроется, что он совершил браковенчание вопреки воле родителей жениха и невесты.

Была также Владимирская церковь в Дуббельне. И еще – деревянный храм в Кеммерне во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Нужно было выбирать меж ними.

Дуббельнская была ближе.

– Идем, Алеша! – Танюша огляделась и немного растерялась. – А где Дуббельн?..

Они высмотрели в дюнах рыбака, который на задворках своего жилища налаживал копильню – рубил ольховые дрова, дававшие самый подходящий дым. Он немного знал по-немецки, так что сумел указать верное направление. Аромат вокруг его дома витал такой, что Алеша ощутил резкий и непобедимый голод. Когда речь о продаже копченой камбалы – общий язык находится скоро, опять же, Николев уже знал ее местное название «буты». Он

взял этих «бутов» пять фунтов – и нежных, с мужскую ладонь величиной, плоских золотистых рыбок, и больших, с которых прежде, чем есть, следовало ободрать с одной стороны шкуру, годную на подметки. В придачу ему отдали за гривенник старую корзинку. Так что во Владимирский храм он явился с корзинкой в левой руке и с Танюшей, вцепившейся в правый локоть.

Батюшку они нашли в саду возле священнического дома, за вкопанным в землю столом. Отец Николай готовил проповедь и со всеми удобствами, на свежем воздухе, с большой кружкой пива для подкрепления духа, выписывал из старых книг нужные цитаты. На нем по случаю жары был помятый черный льняной подрясник.

– Батюшка, спасите меня! Только вы можете меня спасти! – воскликнула Танюша. – Я не хочу служить в театре! А они меня заставляют!

– Как – заставляют? – удивился батюшка.

– Моя родственница – актриса, она хочет, чтобы и я пошла тем же путем. Батюшка, я не хочу, я не могу! Я лучше утоплюсь! Мне не нужен театр, мне не нужны богатые покровители!

– Боже мой... – только и мог сказать ошарашенный батюшка.

Алеша ждал чего-то такого, но и он совершенно обалдел от трагического монолога.

– Отчего я не могу жить как все? Выйти замуж за доброго человека? Стать хорошей женой... да, и хозяйкой! И матерью! И растить деточек! И чтобы в моем приходе меня все знали, все бы со мной в храме Божьем здоровались! И чтобы дом свой, и мебель своя, и все именины праздновать! И на Пасху самой кулич печь, не покупать в последнюю минуту у каких-то грязных баб! Батюшка, я на все готова – лишь бы не на сцену!

«Все» означало – повенчайте нас как можно скорее и спасите невинную душу от зловещей Мельпомены самым святым и христианским способом.

– А замужнюю даму уже не заставят с голыми ногами по сцене скакать! Замужняя ведь только мужа слушаться должна, правда, батюшка?

Очевидно, это была первая в жизни батюшки прирожденная артистка, налетевшая на него, как ночной осенний шторм, и заставившая выкинуть из головы практические соображения. Алеша, стоя рядом, только кивал да в нужную минуту, будучи дернут за руку, рухнул вместе с Танюшей на колени перед батюшкой.

Венчание было назначено через две недели – чтобы брачующиеся смогли к нему достойно подготовиться, исповедаться и причаститься.

– Ну вот, – сказала Танюша, – половина дела сделана. Алешенька, вы не бойтесь, мы будем жить, как брат и сестра! Только, Христа ради, обо всем молчите! Пусть это будет для мадам Терской приятным сюрпризом!

Глава седьмая

В женской гримборной зашла речь о госпоже Зверевой и о полетах.

– Один раз я это видела – и с меня довольно, – сказала Эстергази. – Генриэтточка, душенька, затяни мне корсет потуже.

У всех древних гречанок под пеплосами и хитонами, разумеется, были корсеты.

– Где этот подлец Швейцер?! – спросила всех сразу Полидоро. – Повернись, Лариса. Нет, вы мне скажите – где этот подлец?!

Парикмахер, которого наняли причесывать артисток перед «Прекрасной Еленой» и концертами, безбожно опаздывал.

– Надо все рассказать Маркусу, – твердо произнесла Терская. – Он нам подлеца сосватал – он пусть и другого ищет. А я бы съездила еще раз в Зассенхоф. Отчего нет? Там очень приличная публика. И мы бы напомнили рижанам о своем существовании, что, право, не вредно.

Эта затея адресовалась Танюше, которая после ссоры не разговаривала с Терской. Нужно было как-то мириться с упрямницей, пока она чего не натворила от обиды. Терская еще не знала, что Танюша – девица чересчур предприимчивая, ей предстояло это выяснить дней через восемь-десять – когда новобрачные, прямо из-под венца, явятся принимать поздравления.

– Насчет публики я кое-что любопытное узнала, – заметила Селецкая. – Эрнест рассказал, что его приятель большой друг господина Калеп и ездит в Зассенхоф рано утром. Калеп придумал что-то такое для мотора, что нужно постоянно испытывать и улучшать. Поэтому авиаторы летают чуть ли не в шесть утра, и туда-то съезжаются самые интересные господа, не то что рижские обыватели, которым охота похвалиться новой пиджачной парой. Там и аристократы бывают.

Танюша молчала, но слушала очень внимательно.

– И все эти наездники тоже приходят, когда народу поменьше, – продолжала Селецкая. – Заметили, какие там кавалеры? Генриэтточка, это я тебе говорю!

Полидоро после душевной драмы обходилась без покровителя и называла всех мужчин поголовно мерзавцами.

– Это не нижегородские купчишки, – добавила нетактичная Эстаргази. – А ты ведь, мне кажется, неплохо ездешь верхом? Вот бы и подружилась с ними.

Это был нежнейший намек на форму ног Генриэтты – только женщинам заметную кривизну.

– Да, я езжу верхом неплохо, – согласилась Полидоро, но каким голосом! – Держусь в седле кое-как. Правда, в туннель из шести обручей уже не прыгну, но сплясать на панно, когда лошадь идет ровным аллюром, еще, пожалуй, смогу.

Кокшаров рассказывал Терской, что Полидоро в юности была цирковой наездницей, но вспоминать об этом не желает – ей пришлось оставить цирк из-за поврежденного колена. Это сперва почему-то было тайной, и Терская поделилась только с Селецкой, а та пожалела новенькую и болтать не стала. Но Полидоро освоилась в труппе и наконец решила рассказать о себе.

Артистки заахали – все в цирке бывали, а в Риге еще успели посетить и цирк Саламонского, видели наездницу в короткой юбочке, преспокойно стоявшую на скачущей лошади, у которой вместо седла был небольшой помост-панно. Подпрыгнув, вытянув вперед разом руки и ноги, наездница пролетала в подставленный униформистом обруч. Обруч был для пущей картинности заклеен папиросной бумагой. Несколько таких обручей, соединенных и обтянутых тканью, составляли тоннель.

– Так тебе сам Бог велел ехать в Зассенхоф, – сказала Терская. – Ну что мы, в самом деле, девочек из себя строим. Будем практичнее, медам. Раз уж мы притащились сюда на весь дачный сезон, – смешно будет просидеть его в гордом одиночестве.

– Нет, не хочу, – мрачно ответила Полидоро. – На этом поставлен крест.

– Медам, так нельзя! Давайте вытащим ее на ипподром! – предложила Эстергази. – Она и так сидит по вечерам одна, как сыч в норе!

– Сыч? – переспросила Селецкая.

– Ну да!

Танюша слушала одним ухом. Ее мысли раскручивались в совсем другом направлении.

Может, рано утром все попроще, нет дам в светлых парижских туалетах и не бегают дурак с рупором. Зато людей возле аэропланов немного, и можно подружиться с механиками и молодыми авиаторами. Уж что-что, а оттолкнуть красивую девушку они не смогут!

Мысли об утренней вылазке на ипподром Танюша лелеяла весь спектакль. Знали бы зрители, что творилось в очаровательной головке хмельной гетеры, пляшущей в обнимку с Орестом и виснувшей на шее у жреца Калхаса...

Поскольку Терская и прочие дамы встают поздно, можно вернуться до их пробуждения. Но как?

Денег у Танюши почти не было (те, что в кошельке, следовало приберечь для венчания), и она сперва решила сгоряча, что может, когда поезд будет подходить к Зассенхофу и снизит скорость, выпрыгнуть из вагона не хуже любого здешнего безбилетника. А потом девушка сообразила – не настолько уж далеко этот Зассенхоф, чтобы за час не доехать до него на велосипеде!

Она очень дипломатично выяснила у хозяина дачи, что до Зассенхофа всего-то верст пятнадцать. Это и пешком одолеть можно, если припечет. Долгих прогулок девушка не боялась, но на велосипеде все же быстрее и удобнее.

Но в июне светает рано. В шесть часов авиаторы уже возле аэропланов – им-то не нужно добираться со штранда! А во сколько встать Танюше, чтобы поспеть вовремя? И как исхитриться, чтобы не перебудить всю труппу?

Решение было единственное: выехать в ночь. Взять с собой одеяло, взять провиант, полотенце с мылом взять, наконец! Ночь теплая, а где-то на ипподроме возле конюшни должен быть сенной сарай. Лошадей-то там стоит немало. И вода, чтобы умыться, наверняка есть. Главное, выходит, – стянуть у кого-нибудь будильник.

А утром сказать душе Зверевой:

– Я выхожу замуж, а мой супруг позволит мне записаться в летную школу!

О том, что денег на оплату учебы еще нет, можно пока и не говорить. Госпожа Терская не скоро опомнится от такого венчания, но в конце концов отдаст шкатулку. До того времени все, кто имеет отношение к полетам на ипподроме, станут лучшими Танюшиными друзьями. (В этой светлой картине мироздания совершенно не нашлось места для Алеши Николева, ну да дитятко уже большое – пусть сам себе место при аэропланах ищет!)

Танюша отправилась в Солитюд поздно вечером после концерта. Она артистически изобразила головную боль и ушла спать пораньше. Под одеяло она уложила куклу, скрученную из ненужных вещей, а велосипед заранее вывела и спрятала у ворот дачи, в сиреновом кусте. Дорогу она знала – по этой дороге Сальтерн как-то провез ее вместе с Селецкой и прочими дамами.

Ехать было страшновато, однако мысль о том, что прямо сейчас, сию секунду, совершается подвиг во имя полета, бодрила Танюшу. Она в мечтах видела себя стоящей на крыле «фармана» в изящном коротком жакете и элегантных шароварах, заправленных в парижские высокие ботинки. Цвет ботинок был главной заботой – сшить лиловую одежду несложно, а поди добудь обувь такого же оттенка. Планируя путешествие в Париж за туалетами авиа-

триссы, Танюша бодро крутила педали и чуть не проскочила мимо ипподрома. Она не сразу поняла, что забор, чуть ли не вплотную подступавший к рельсам, – именно тот, который ей нужен.

Сойдя с велосипеда и ведя его за руль, девушка пошла вдоль забора, понимая, что там, где лошади, непременно крутятся мальчишки, а где мальчишки – там и дырки в заборах. Она принюхивалась, пытаясь определить, где конюшни. В конце концов Танюша набрела на прямую дорогу – слева она уходил к железнодорожному переезду, справа вела вдоль забора. Пожалуй, дальше идти не стоило – вряд ли мальчишки стали ковырять забор там, где постоянно проезжают телеги и проходят люди. Танюша выключила велосипедный фонарик, прислонила сам велосипед к забору и стала изучать все доски поочередно – которая держится крепко, а которая – лишь на верхнем гвозде. При этом она внимательно прислушивалась – что там, на ипподроме, делается, не зазвучат ли голоса.

Но опасные звуки донеслись как раз со стороны дороги.

Со стороны Зассенхофа к ипподрому двигался автомобиль. Он остановился в полусотне шагов от Танюши, с перепугу присевшей на корточки. Оказалось, что она, исследуя местность, буквально десяти шагов не дошла до ворот. Это были не те ворота, через которые попадала к трибуне публики, приехавшая поездом в Солитюд, а противоположные, для служебных надобностей.

Шофер подал знак клаксоном – два отрывистых гудка. Автомобиль ждали – ворота отворил изнутри кто-то незримый, и автомобиль въехал на территорию ипподрома. Там его фары погасли. Ворота остались открыты.

Такую возможность нельзя было упускать! Танюша схватила за велосипедный руль и бегом влетела в ворота. Сразу повернув вправо, она пробежала еще немного вдоль забора и оказалась возле дощатой стены, то ли сарая, то ли еще какой необходимой в этом заведении постройки. Это была невероятная удача, и Танюша, мало беспокоясь, что за автомобиль такой и за каким бесом притащился он среди ночи на ипподром, пошла искать себе пристанище.

Ворота большого сенного сарая были открыты. Еще не настала пора сенокоса, тем более – время, когда копны высохшего на стожарах сена свозят в сараи или хоть под навесы. Прошлогоднего сена оставалось не так уж много. Появись тут Танюша через месяца полтора – ей бы пришлось рыть себе нору в высокой, под самый потолок, и плотной ароматной горе. Сейчас же она, включив на полминуты фонарик, изучила обстановку, прошла через весь сарай и устроилась на невысокой куче. Велосипед она положила в углу на утопанный пол.

Сейчас следовало бы завернуться в одеяло и попытаться уснуть. Но волнение, как и полагается, породило бессонницу.

Как потом додумалась Танюша, эта радостная бессонница, похоже, спасла ей жизнь.

Она услышала, что в сенной сарай вошел человек. Перепугавшись, Танюша, как малое дитя, натянула одеяло на голову, и вовремя – вошедший включил фонарь наподобие велосипедного и быстро обшарил лучом стены. В щелку Танюша видела слепящее пятно, а потом, когда человек повернулся к ней боком, – и силуэт.

Это был высокий и худощавый мужчина – женщины такими долговыми не вырастают. Верзила двигался легко и быстро – Танюше померещилось сходство с Енисеевым. Но Енисеев тут оказаться не мог – что он забыл на ипподроме, да еще в сенном сарае?

Фонарик погас, мужчина вышел, тут же раздался короткий крик, затем топот, опять крик – человек по-немецки звал на помощь, и не просто звал, а утверждал, что его убили. Потом совсем близко заржали лошади. На ночном ипподроме творился какой-то непонятный кавардак. Первое, что пришло Танюше на ум, – это конокрады! С перепугу она стала читать молитвы. Потом опять зарычал и затрещал автомобильный мотор. И тогда уж все стихло.

Заснула Танюша ровно за пять минут до того, как задребезжал взятый с собой будильник. Она прихлопнула сияющую стальную чашку, села и с ужасом осознала, что забыла взять гребешок.

В сарае было уже светло, снаружи звучали голоса. Танюша прислушалась – мужчины перекликались сразу на трех языках: немецком, латышском и русском. Она подкралась к воротам сарая, выглянула и увидела стену здания, которое при ней называли необычным словом «ангар».

Одернув юбку и кое-как огладив голову, Танюша пошла вокруг ангара и вскоре оказалась на краю летного поля. Действительно – в шесть утра тут начиналась настоящая жизнь.

Ей редко доводилось вставать так рано, чтобы видеть настоящее солнечное июньское утро, с пением птиц, с ясным небом, с тем удивительным воздухом, который удается вдохнуть только спозаранку, с той забавной зябкостью, которая смешит и бодрит лучше шампанского. А вот Лидия Зверева, видно, привыкла подниматься ни свет ни заря: она уже стояла у ангара, кутаясь в огромную шаль, на сей раз не в шароварах, а в светлом летнем платье. Тут же был Володя Слюсаренко, дававший указания механикам на непонятном русском языке.

Танюша кинулась к своему идеалу.

– Лидия Виссарионовна!

– Боже мой! – воскликнула Зверева. – Как вы сюда попали?

– Я же говорила – я мечтаю летать и буду летать! – пылко сказала Танюша. – Ради бога, не гоните меня! Я все уладила, моя семья возражать не станет!

– Ваши родители сошли с ума? – осведомился Слюсаренко. Он уже был в летном шлеме, а автомобильных очках, в кожаной куртке и сапогах, натягивал перчатки.

– Нет, все гораздо проще! У меня теперь другая семья, – объяснила Танюша. – Я замуж выхожу! А мой жених тоже бредит полетами! Он вместе со мной будет учиться!

Про совместную учебу она придумала только что, на лету, мало беспокоясь об истинных намерениях Алеши.

Одновременно мужчины выкатили на летное поле «фарман», а со стороны конюшен подъехал высокий стройный всадник.

– Решили наконец пересесть в наше седло, господин фон Эрлих? – по-немецки спросила его Зверева.

– Нет, лошадям я не изменю, госпожа Зверева, – ответил он. – Это просто любопытство и немного более того...

Лидия смутилась.

Танюша посмотрела на всадника говорящим взглядом: вот только сунься к моему кумиру! Она прекрасно видела политику этого красавца – рядом с невысоким Володей Слюсаренко, менее всего похожим на дамского угодника, он выглядел королем и вел себя победительно (старое словечко опять вошло в моду, а актрисы очень следили за тем, чтобы их речь была полна таких словечек). Однако всадники, даже красивые, были для Танюши явлением обыкновенным – странствуя с труппой, она уж насмотрелась на кавалерийских офицеров, – а вот авиатор казался восхитительным существом иного мира, чуть ли не ангелом, только в черной коже.

Нужно было спешить на помощь авиатриссе.

– Лидия Виссарионовна, так вы позволите мне постоять с вами и поучиться? Я быстро схватываю! – похвалилась Танюша.

– Ну что же, стойте тут, смотрите и слушайте, – сказала Зверева. – Только, ради бога, ни во что не мешайтесь.

И, перейдя на немецкий, холодно произнесла:

– Господин фон Эрлих, аэроплан уже готовят ко взлету, лошадь может испугаться.

– Я приеду после полетов, – пообещал он и, подняв гнедого коня в легкий галоп, ускорился. Зверева невольно проводила его взглядом. Да, она любила Володю, она обещала стать его женой, только этот всадник подозрительно легко встревожил душу... Но как, как? Он отмеривал ей свое внимание – словно на аптекарских весах! Слова, которые он произнес с минуты знакомства, можно было на пальцах перечесть! И что в нем было? Царственная осанка, прекрасная посадка, самоуверенность – ведь ничего больше, право, ничего!

Танюша же, глядя на фон Эрлиха, вспомнила ночного посетителя сарая с фонариком. Тоже ведь высок, строен и... усат?.. Сейчас она вдруг поняла, что, увидев на долю секунды профиль незнакомца, отметила присутствие усов, торчащих из-под носа вперед. Уставившись на спину наездника, она задумалась: насколько же они торчат у этого красавчика, больше или меньше, чем у Енисеева.

И тут застрекотал мотор «фармана».

Все оказалось гораздо скучнее, чем думала Танюша, катая на велосипеде к Зассенхофу. Аэроплан, пилотируемый Слюсаренко, взлетел дважды и приземлялся, сделав всего круг. Что-то такое слышали Зверева, Слюсаренко, Калеп и механики в стрекоте мотора, чего Танюша никак не могла уразуметь. Из-за чего-то они горячо спорили, что-то их смешило до слез, и это вызывало острую зависть. Танюша видала похожее на репетициях, но без истинного азарта единомышленников. А для нее азарт был равноценен счастью – как, возможно, и для Зверевой.

Вдруг на летное поле вылетел открытый автомобиль «мерседес» и затормозил буквально в метре от «фармана». За рулем был шофер в обычных шоферских доспехах – кожаной куртке, кепи, огромных очках, за его спиной стоял человек, которого Танюша узнала сразу – он тогда еще привез Зверевой целую клумбу.

Видимо, он всю дорогу, от поспешности и волнения, ехал стоя – котелок с головы слетел, волосы взлохматились.

– Достал, достал! – кричал он еще издали. – Королева моя, достал! Раздобыл! Вы не верили, а я достал! Ну, кто выиграл? Кому выставить шампанское?!

– Боже мой, Таубе! – воскликнула Зверева. – Не может быть!

Небольшие заколоченные ящики, которые вызвали общий восторг, стояли на полу автомобиля. Их стали вытаскивать, поздравлять Таубе с победой, подняли тот самый шум, без которого энтузиасты не умеют обходиться, празднуя даже крошечное достижение. Танюша кое-как поняла: в ящиках – прославленная французская краска «Нуавия», лучше которой для покраски крыльев аэроплана еще не придумано, она бесподобно придает ткани эластичность и прочность, непромокаемость и способность сопротивляться низкой температуре. Станным показалось девушке, что это диво привезено не из Парижа, а из Петербурга, прямоком с улицы Миллионной, где были мастерские «Товарищества Ломача». Но, с другой стороны, Петербург все ж ближе Парижа.

– Но, господин Таубе... – Зверева вдруг опомнилась. – Это слишком дорогой подарок... Володя!.. Господин Калеп!..

– Моя королева, позвольте поцеловать вашу ручку, выпачканную в машинном масле, и мы квиты! – со смехом ответил Таубе. – Но мы ведь уже договорились – я буду вашим учеником, это всего лишь плата за обучение. Так мы договорились? Вы сегодня берете меня пассажиром?

– Если вы не против, пассажиром вас возьму я, – вмешался Слюсаренко, косо смотревший на невинное мужское кокетство Таубе.

– Эх... Но для меня полет – примерно то же, что для вас, – неожиданно серьезно сказал Таубе. – Вы полагаете, что человек моей комплекции и моего ремесла не может мечтать о небе? Может – да и горячее, чем вы, молодежь...

Зверева посмотрела на него с любопытством.

Дальше все было совсем неинтересно. От аэроплана отцепили мотор, расстелили прямо на траве клеенку, стали на ней раскладывать блестящие и тусклые детальки, покрывая друг на друга, чтобы не терялись винты и шурупы. Разговор стал совсем непонятный. Зверева не хуже мужчин управлялась с техническими словами и, стоя на коленях перед клеенкой, доказывала Калепу какие-то истины – доказывала страстно и даже яростно.

Калеп же тыкал пальцем в странички с чертежами и расчетами. Потом он отложил стопку бумажек на край клеенки, придавив их большой блестящей гайкой.

И тут прозвучали единственные слова, которые Танюша поняла.

– Если бы сейчас взять вот эти чертежи да отвезти в Америку, за них заплатят больше, чем за ваши «фарманы» и все летные приспособления, вместе взятые, – сказал Таубе. – Так, господин Калеп?

– Может быть, – согласился инженер.

Когда мотор опять собрали и стали прикреплять к «фарману», Зверева подошла к Танюше.

– Всю эту механику вам придется учить в летной школе, барышня. Полет – это минуты. А возня с мотором – дни и недели, – сказала авиатрисса.

– Но вы же выбрали это. Ради полета, да? – спросила Танюша. – Ну и я потерплю, если уж так надо. Я тоже смелая, я буду не хуже вас!

– Тут не терпеть – тут любить... У меня голова так устроена, что я просто люблю механику, – объяснила Зверева. – Мне нравится видеть, как точный расчет воплощается в жизнь. А смелости, чтобы залететь под облака, довольно и у пьяного лихача, который гонит свою бричку, не разбирая дороги. Подумайте...

– Я уже подумала. По всей России дамы и девицы учатся в летных школах, а я чем хуже? Вон княгиня Шаховская в Германии или госпожа Голанчикова! Она тоже бросила сцену ради аэропланов! Я про них про всех уже читала!

Это было правдой – бывая в Риге, Танюша покупала газеты и журналы, выискивая в них авиационные новости.

Зверева улыбнулась.

– Сегодня полетов больше не будет, – сказала она. – Если вы так уж загорелись, приезжайте в четверг. А сейчас – простите, милая, мне нужно в мастерскую.

Танюша ехала на шtrand в смутном состоянии души. Полет все еще был мечтой – но пачкать руки в машинном масле девушке совершенно не хотелось.

Она полагала, что сумеет пробраться в комнату незаметно. В конце концов, окно на ночь не закрывают – трудно, что ли, взлезть? Но возле дач, занятых кокшаровской труппой, толпились соседи. Танюша даже испугалась – не пожар ли?

Загнав велосипед в сиреневый куст, бросив туда же одеяло и прочее добро, она сквозь толпу пробилась к забору.

В белой резной беседке, стоявшей на холмике возле изгороди между дачами, что-то происходило. Внизу, у лесенки, ведущей в это причудливое сооружение, стояла едва ли не вся труппа – и Терская тоже. Лица были и взволнованные, и удрученные.

– Какой ужас, какой ужас! – твердила Эстергази.

Эта актриса была чем-то Танюше симпатична. Она могла нести сущую околесицу – но она же раза два защитила девушку от придирок Терской. Потому-то Танюша втихомолку прибилась к ней.

– Ларисочка Игнатьевна, – шепнула девушка, – на вас лица нет. Давайте отойдем. Хотите, я вам водички принесу? стаканчик водички с лимонным соком?

– Да, да, миленькая...

Теперь Танюша вроде как легализировалась в толпе – она обихаживала Эстергази. А меж тем во двор въехала телега, и из беседки вынесли что-то долгое, завернутое в меш-

ковину. Танюша не сразу поняла, что это человеческое тело, а когда увидела торчащие ноги в черных чулках – ойкнула и на миг утратила соображение.

– Вот так-то, деточка. Ты не смотри туда, – сказала ей Эстергази. – Нет ее больше, бедняжки. Вот горе Эрнесту, вот горе...

– Валентиночка... – прошептала Танюша. – Ой, как же это?..

– И Валентиночку по допросам затаскают, я их, мерзавцев, знаю... Эрнестика, беденького, вызвали, ему в Ригу телефонировали, не сразу отыскали... Каково это – единственной сестрицы лишиться?.. Единственной, деточка...

Глава восьмая

Когда тело Регины фон Апфельблум увезли, началось самое для артистов кошмарное – полицейские стали их опрашивать. Вопросы были одинаковы для всех: где провели ночь, кто может это подтвердить, не слышали ли подозрительного шума, что известно об отношениях в семье Сальтерна, бывала ли покойная на артистических дачах и знала ли вообще о существовании беседки.

Рижские полицейские уже неплохо говорили по-русски – а ведь еще двадцать лет назад им бы пришлось переводчика звать. Старый немецкий город долго сопротивлялся, долго отбивался, даже вся документация в магистрате и в полиции велась на немецком. Но настали новые времена, пришлось покориться.

Танюша, понимая, что уж ипподром-то с аэропланами точно не имеют отношения к убийству, отвечала, как все: спала, ничего не слышала. И фактов, которые пролили бы свет истины на это непонятное убийство, не знает.

Ей Регина фон Апфельблум не нравилась – уж больно задирала нос. И потому у девушки было что-то вроде угрызений совести: вот ведь невзлюбили артисты гордячку, а ее и на свете больше нет; может, недодали ей хотя бы малость душевного тепла, хотя могли, могли, трудно, что ли, сыграть эту малость тепла?

А вот Стрельский огорчился не на шутку.

– Какая красивая женщина была... – вздыхал он. – В хороших руках ей бы цены не было...

Кокшаров пригласил инспектора рижской сыскной полиции Горнфельда к себе в комнату, открыл деревянный ящичек с сигарами, достал бутылку хорошего французского коньяка.

– Фрау Магда! Фрау Магда! – крикнул он хозяйке. – Сварите хороший крепкий кофе и не экономьте на зернах! Я ее знаю, она тайком высушивает единойжды заваренный кофе и подмешивает его к свежемолотому.

– Похвальная экономия. Моя супруга тоже этой гадости научилась, – уныло ответил полицейский.

Горнфельд Кокшарову не очень нравился – скучный, всем на свете недовольный, чем-то похожий на артиста Лиодорова: тот тоже считал, что жизнь не состоялась, но Лиодоров мечтал совершить усилие, выгодно жениться и вырваться из актерского сословия; о чем мог мечтать Горнфельд, Кокшаров и вообразить не мог – разве что о более высоком чине, но ведь чин – дело житейское, рано или поздно начальство его даст.

Разговор предстоял неприятный – подозрения падали на труппу. О романе Сальтерна с Селецкой инспектор первым делом узнал – про него весь шtrand знал. И Кокшарову стоило некоторого труда объяснить, что курортный роман с актеркой – дело пустяковое, это вроде неременной принадлежности летнего отдыха богатого человека, причем роман не предполагает обязательных постельных шалостей – часто артистки подарки-то берут, а расплачиваются за них тем, что позволяют возить себя по ресторанам.

– И ничего более? – удивился Горнфельд.

– Иному пожилому господину лишь хочется, чтобы его считали счастливым любовником, – терпеливо растолковывал Кокшаров. – Чтобы слух прошел о его амурных подвигах. Отчего ж не уважить щедрого господина?

Когда Горнфельд задал все свои вопросы, в комнату опять заглянула дачная хозяйка.

– Господин Кокшаров, к вам Шульц просится, пускать?

– О господи! – простонал Кокшаров. – Что они еще натворили?

– Кто натворил? – осведомился Горнфельд.

– Аяксы мои, будь они неладны! Мне уж перед Шульцем стыдно, ей-богу, – всякий раз что-то новое учудят!

– Кто такие Аяксы?

– Это два моих ходячих несчастья! – и Кокшаров вкратце рассказал, как был вынужден нанять двух совершенно незнакомых артистов. Потом впустили Шульца, и он, немного смутившись при виде рижского инспектора, доложил: Аяксы были найдены на берегу реки, Курляндской Аа, в том месте, где она впадает в залив, спящими под перевернутой лодкой. Нашли же их рыбаки, которые спозаранку обнаружили, что ограблена коптильня, и пошли по следу воров. Вместе с Аяксами были найдены корзинка с пустыми бутылками, рыбы скелеты и шкурки от камбалы – то есть они стянули себе закуску.

– Выходит, господа Енисеев и Лабрюйер на даче не ночевали? – уточнил Горнфельд.

Кокшаров, которому и в голову не пришло назвать настоящие фамилии своих артистов, подтвердил: выходит, не ночевали; выходит, сразу после концерта отправились на поиски приключений, а где и что они пили – одному Богу ведомо.

Привезенные на ормане Аяксы заявили, что решили устроить пикник по английскому образцу: взяли корзину с бутылками, колбасок на закуску и ушли в дюны; шли, шли и устроились в очень милом местечке где-то между Бильдерингсхофом и устьем, там пили и пели, потом оказалось, что спиртное взяли в правильном количестве, а закуски – недостаточно...

При этом Енисеев держался так прямо и с таким достоинством, что ввел бы в заблуждение любого, не знакомого с нравами и повадками великосветских пьяниц. Лабрюйер же имел жалкий вид, отводил взгляд, отмалчивался, тер ладонью лоб, потом взялся растирать уши – некоторые полагают, что это способствует протрезвлению. Наконец он печально попросил Кокшарова о стопочке коньяка на опохмелку.

– Приличные люди не опохмеляются, – свысока бросил ему Енисеев.

– Зачем вы взяли в труппу этих господ? – спросил Горнфельд, с презрением глядя на Лабрюйера.

– Больше некого было. С господином Енисеевым буквально в последнюю минуту в Москве сговорились, а господина Лабрюйера нашел нам господин Маркус в Риге. А голоса у них хорошие, именно то, что требовалось. И публике их дуэт очень нравится. Вы полюбуитесь на них – это же именно дуэт! Им довольно в обнимку выйти на сцену, чтобы публика рыдала от смеха.

– Понятно. Нижайшая просьба – никуда из Майоренхофа не уезжать, с репортерами поменьше разговаривать, – приказал Горнфельд.

– Да куда мы поедem?! Контракт! С неустойкой!

Репортеры уже торчали во дворе, фотографировали роковую беседку, налетели с вопросами на уходящего Горнфельда, но он только отмахнулся. Их, понятное дело, больше интересовало убийство, но и новое приключение двух Аяксов с воровством копченой камбалы тоже годилось. Кокшаров выставил своих пьянчужек и попросил позвать к себе Терскую. Нужно было вместе обсудить, какими неприятностями грозит труппе покойница.

Каким-то образом Енисеев улизнул со двора, оставив на расправу репортерам Лабрюйера. Тот, совсем разбитый после ночных подвигов, кое-как отбрехался и притащился к Кокшарову оправдываться и жаловаться.

– Ну вот как, как он, сукин сын, опять меня в историю втравил?! – восклицал Лабрюйер. – Как это могло произойти?

– Пить меньше надо, – хладнокровно отвечал Кокшаров. – Еще одна такая выходка – обоих прогоню к чертовой бабушке. И найму парочку Аяксов в Дуббельне – там этого добра хватает!

Как Эдинбург был шtrandом русско-аристократическим, где знатные господа имели собственные особняки, как Бильдерингсхоф был шtrandом немецким, как Майоренхоф был

штрандом демократическим – там всякую публику можно было встретить – так Дуббельн был штрандом иудейским, хотя именно с этого поселка началась история здешнего штранда вообще и русские генералы после войны двенадцатого года там раны залечивали. В Дуббельне Маркус нанял подходящий оркестр для «Прекрасной Елены», а захотел бы – и певцов бы там же раздобыл, музыканты в Дуббельне водились хорошие и опытные.

– Воображаю этих Аяксов! – возмутился Лабрюйер. – С их парижским прононсом!

– Ваш не лучше! – отрубил Терская.

– Я убью этого верзилу, – пообещал Лабрюйер. – Он же видит, что мне просто нельзя пить, я теряю память и смысл... Видит! И тащит за собой!

– Ступайте и хоть немного поспите перед спектаклем, – велел Кокшаров. – Не отменять же его из-за этой печальной истории.

– История не печальная, а дурацкая, – возразил Лабрюйер. – Похищено восемь штук больших «бутов» – что тут печального? Мы заплатим рыбакам и за рыбу, и за то, что трубу коптильни сломали...

Тут только выяснилось, что Аякс-маленький еще не знает про убийство.

– Так вот для чего сюда Горнфельд притащился! – воскликнул Лабрюйер. – А я сразу и не сообразил! Послушайте, Горнфельд про меня... про нас с Енисеевым вопросов не задавал?

– Нет, ему и без вопросов все было ясно, – ехидно заметил Кокшаров.

Дивным образом похмелье оставило Лабрюйера. Он схватил стопку Кокшарова, где еще оставалось на два пальца коньяка, вылил в рот и выскочил из комнаты.

– Селецкую утешать побежал! – догадалась Терская. – Вот ведь герой-любовник!

– Лариса права, ее теперь по допросам затаскают, – Кокшаров вздохнул. – Но, с другой стороны, и это – реклама... Зинульчик, ты скажи дамам, чтобы в грязных капотах во двор не выскакивали, сюда сейчас все здешние бездельники понаедут – на беседку смотреть. И вообще – сидели бы они в комнатах и не высывались, а то наговорят репортерам ерунды. Заметила, какой нехороший взгляд у этого Горнфельда? Он на бедного Лабрюйера так уставился – я думал, ткнет пальцем и рявкнет: «Убийца!»

– Он гадкий, – ответила Терская.

Лабрюйер первым делом побежал к колонке. Она была за дачей, на вымощенном брусчаткой, явно где-то уворованной, пятачке. Пользоваться насосом можно было двояко – либо повесить на специальный крюк ведро и уныло качать, пока не пойдет наконец из неведомых глубин вода, выскакивающая с брызгами и особенным подземным запахом, либо, выманив воду, после каждого движения насоса подскакивать к трубе, подставляя ладони и плеча себе в лицо. Умывшись таким причудливым способом, Лабрюйер пригладил волосы и действительно побежал искать Селецкую.

Он нашел ее во дворе дамской дачи, за цветником, посреди которого торчали стеклянные шары на палках. Там, за кустами шиповника, особого местного шиповника – белого и с очаровательным ароматом, – стояли два венских стула, и если сидеть пригнувшись – посторонний и не догадался бы, что между шиповником и забором находятся люди.

Это было место, нарочно устроенное для курильщиков. Фрау Лемберг, хозяйка дамской дачи, утверждала, что у нее от дыма делаются головные боли. Поблизости была калитка, соединявшая два двора, так что и мужчины могли спокойно проходить в этот укромный уголок.

Селецкая сидела с самым горестным видом и держала в опущенной руке листок – письмо в пару строчек. Все-таки она была прекрасной артисткой – и в настоящей беде, в истинном горе, неосознанно приняла изящную позу, наводившую на мысль о сломанной лилии.

– Сударыня, – собравшись с духом, сказал Лабрюйер, – если я чем-то могу быть полезен...

– Вот, – ответила Селецкая. – Вот, посмотрите. Он с ума сошел. Я не все поняла, правда... Переведите, прошу вас...

Лабрюйер взял письмо.

Сальтерн от расстройства чувств написал его по-немецки.

– «Дорогая Валентина, – прочитал Лабрюйер, сразу переводя на русский. – Я очень виноват перед вами. Я прошу меня простить. Возможно, мы больше никогда не встретимся. Я недостойн быть вашим мужем. Эту записку сожгите».

– Он сошел с ума, – повторила Селецкая. – Записку принес какой-то рыбак. Лабрюйер, я вас умоляю – пойдите в участок – ведь его привезли в участок, да? Чтобы он забрал тело бедной Регины, да? Пойдите, ради бога, скажите ему, что я должна его видеть!

– Да, я пойду, – хмуро ответил Лабрюйер. – Его сюда привести?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.